



## *Дорогой читатель!*

*Я родился и закончил среднюю школу в с. Черниговка, Приморского края (рядом озеро Ханка, по которому проходит территориальная граница с Китаем). Здесь, в заливах илистых речек, как и в Китае, произрастает чудесный, фантастический по красоте, цветок Лотос.*

*Мне достаточно лет и я помню разные периоды взаимоотношений между нашими странами. Великий Конфуций говорил: «Трудно всегда делать только разумные вещи».*

*Но именно разумные вещи являются главной объединяющей сутью всех людей планеты и лежат в основе лучших произведений художников. И это естественно, потому что они оставляли и оставляют в своих произведениях лучшую часть себя. То есть те качества, которые во все времена не подлежали и не подлежат пересмотру, делая человека Человеком.*

*Искренне верю, что мир спасется красотой, и более всего меня убеждает и обнадеживает в этом чудесный цветок Лотос.*

**Виктор СЛИПЕНЧУК**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the printed name.

## СОДЕРЖАНИЕ

Смеющийся  
пузик ..... 1

День победы ..... 47

Сладкое  
шампанское ..... 62

# | СМЕЮЩИЙСЯ ПУПСИК |

—•••••  
*...Оно же всегда радостно,  
когда сам поймешь что-  
нибудь большое и другому  
объяснишь, и он тоже поймет.*  
—•••••

Это знаете откуда? Думаете, кто-то из великих? Ничего подобного. Это выдержка из моего дневника «Записки юного натуралиста». Понимаю, что название дневника не очень-то подходящее — какой я натуралист! Но ведь я начал вести его давным-давно. Просто услышал однажды по радио: «Из записок юного натуралиста», взял тетрадь и написал: «Записки юного натуралиста». Собственно, это даже не тетрадь, а огромная книга. Переплет толстый, темно-коричневый, а листы белые, тонкие, лощеные, с красными полосками вкось и вкривь. А над каждой полоской сверху — иероглифы маленькие, как паучки. Роскошная тетрадь! Нашел ее возле аэродрома, где Пятая армия стояла. Я тогда учился в третьем классе, и мы вместе с Эдькой Воскобойниковым, моим лучшим другом, после школы у аэродрома часто пасли коров. Там раньше трава хорошая росла, по колено.

Эдька, впервые увидев тетрадь, сказал:

— Вот это находочка! всю жизнь можно в ней уроки делать.

До шестого класса я давал Эдьке читать дневник, а потом перестал. Перестал после двадцать второго сентября. Это был особый день. После него в моем дневнике много стихов появилось. А первое я даже сейчас помню наизусть:

**Когда я нес диван на спине,  
От тяжести пот с меня капал.  
И вдруг я увидел тебя с другим.  
Я сел на диван и заплакал.**

Сочинил его в тот же день, двадцать второго сентября, и никогда никому не читал. Сочинилось оно сразу и сразу понравилось мне, хотя никакого дивана в тот день я не нес и тем более не плакал на нем. Наоборот, в тот день у меня было хорошее настроение...

... В час дня собрал в сумку учебники и пошел в школу. Шел через гарнизон, потому что филиал нашей школы находился за гарнизоном, недалеко от аэродрома, — тогда у нас еще не было новой двухэтажной школы. Филиал находился в П-образном доме, с одной стороны которого была казарма для летчиков, а с другой — наши классы.

Я шел не торопясь, знал, что успею. А если даже не успею, мне за это все равно сегодня ничего не будет. У меня день рождения. Нет, ничего не будет! Я и уроки не все сделал. Решил только задачки по геометрии и физике, а ботанику и русский не читал. «Даже если пару схвачу, все равно сегодня дома ничего не будет», — думал я.

В школу пришел рано. Эдька, увидев меня, крикнул:

— Задачку по геометрии сделал?

— А как же, — сказал я. Мне было приятно, что у всех сразу возник повышенный интерес к моей персоне. Но, честное слово, если б я знал, что задачку не решит весь класс, я бы в такой день решать ее не стал. Лучше погонял бы велик Генки Рогозинского. Но не об этом речь.

Задачку все у меня списали, и Светланка Карманова тоже спи-

сала, а она была круглой отличницей.

Иван Андреевич, когда зашел в класс, сказал:

— Откройте тетрадки с домашним заданием и положите на край парты.

Все положили, Иван Андреевич прошел и удостоверился лично.

— Да, решили. — Иван Андреевич хмыкнул. — А вот в шестом «Б» никто не решил.

Все зашумели:

— Ну и что же, Иван Андреевич? Вы нас с ними не сравнивайте! Там вообще одни лодыри, Иван Андреевич.

И во время этого шума Светланка Карманова смотрела на меня, как на артиста какого знаменитого. Я немного растерялся и, чтобы она этого не заметила, стал рыться в сумке.

О Светланке надо сказать, что она очень красивая, опрятная, как, между прочим, все отличницы, но не ябеда, не задавака и не подлиза, а когда засмеется, у нее ямочки на щеках появляются. И она толковая вообще.

— А ведь не все решили задачу и среди вас. Кое-кто... — здесь Иван Андреевич сделал паузу, и я почувствовал, что он смотрит на меня. — Кое-кто списал. Да-да, списал, и последних, наверное, даже больше.

Я поднял глаза и встретился взглядом с Иваном Андреевичем. Он смотрел на меня с таким вниманием — у меня аж под сердцем екнуло. Мне показалось, что он догадался, почему я роюсь в сумке. Я отвел взгляд, а он:

— Вот ты, Губкин, — только честно! — списал?

Как только я это услышал, у меня так все от сердца и отлегло. Я встал и, улыбнувшись, сказал:

— Списал.

— У кого?

— У кого? — Конечно, если бы у меня было плохое настроение, я, может быть, промолчал бы. Но у меня был день рождения, и я возьми да и скажи:

— А у нее.

Светланка вскрикнула и вскочила, как ошпаренная. Я как увидел ее такой, у меня сразу веселье прошло. В классе тихо стало. Все знают, что я у нее не списывал, и каждому интересно, что она на это скажет. А мне нехорошо стало. Я почувствовал — унизил Светланку.

— Иван Андреевич, он обманывает. Это я у него списала.

— Ты?! — У Ивана Андреевича от удивления чуть не слетели очки.

— Я. — Светланка еще сильнее покраснела и, опустив голову, села. Стало тихо. — Ничего не понимаю! Губкин, может, хоть ты объяснишь, кто у кого списал?

Что я мог сказать? Поднял голову и стал смотреть в окно. Пусть хоть Иван Андреевич возмутится моим поведением и накажет меня, что ли!

Но он вдруг разулыбался: — А-а-а... Понимаю, понимаю! Я глянул на Ивана Андреевича. Он, чуть-чуть улыбаясь, смотрел на Светланку, причем не просто, а с каким-то тайным значением. Она смутилась и залилась краской.

— Понимаю, понимаю, — снова сказал Иван Андреевич и стал долго изучать журнал. Потом открыл задачник и, все еще улыбаясь, спросил:

— Кто желает получить пятерку или четверку?

В классе зашумели:

— Я, я...Я!...

— А мне думается, пусть именинником будет Губкин.

Тут шуметь стали еще больше. И в самом деле, интересно получилось. Он ведь не знал, что я и так сегодня именинник.

— Губкин, задача, которую ты решил дома, — будем так считать — имеет два способа решения. Один способ у тебя записан в тетради — кстати, более сложный. Реши вторым, легким способом. Решишь — пять, не решишь — сразу получишь две двойки, дополнительную за списывание. Это и будет обещанная четверка. — Иван Андреевич заложил руки за спину, медленно прошелся по классу.

— А кто первый решит ту же задачу на месте, обещаю поставить «отлично» в журнал.

Урок пролетел незаметно. Я решил задачу на перемене, Иван Андреевич перемену засчитал за урок. Кроме меня, решила задачу Светлана, но «отлично» не получила. Не получила потому, что Иван Андреевич об этом так и не узнал. А на самом деле Светлана решила задачу за партой даже чуть-чуть раньше меня. Это мне рассказал Эдька: он сидел тогда с ней за одной партой и видел своими глазами. Светлана вначале в черновике все сделала, но в чистовик переписывать не стала, а когда я на касательную опустил перпендикуляр и получил дополнительный равнобедренный треугольник, она обрадовалась и сказала:

— Сейчас решит! — И засмеялась, а в чистовик решение так и не переписала. Чтобы Иван Андреевич, не дай бог, не подумал, что я каким-то образом узнал решение от нее.

А затем на последней перемене Темка Худяков начал в зоску играть. У него зоска была пушистая, из белой шубки, а пластинка из свинца — с четырьмя дырочками, как пуговка. Темка ее подшил к шубке медной проволокой. Роскошная зоска получилась! Темка без передышки выбивал ее по триста раз. Начал Темка в зоску играть в классе, а за них же строго: от них пыль и другое всякое. Дежурная, Лидка Ягнышева, подскочила к нему, схватила зоску и как швырнет! Зоска, словно парашютик, полетела через весь класс. Светлана Карманова по ней, летящей, поддала, и зоска угодила прямо мне в лоб. Все в смех, а Светлана отвернулась

как ни в чем не бывало. Я виду не подал, что заметил, кто меня зоской угостил, запрыгнул на подо- конник, руку с зоской выставил на улицу:

— Кто бросал? Считаю до трех... Раз, два и...

Темка подлетел:

— Валера, не бросай... Это Карманова!

— А-а-а! — грозно заорал я, а сам стою на месте: наброситься на Светланку, даже в шутку, после всего, что сегодня произошло, не мог. Светланка пустилась бежать от меня к девчонкам. Те ее спасать начали, визжать, тут мы, пацаны, и накинулись на них, с такими рожами — как пираты. Я Светланке все бантики распустил, а девчонки мне от бобки белый воротничок оторвали. Ботаничка вошла в класс, а в углу куча-мала.

— Безобразие! Кто дежурный? Ягнышсва, кто зачинщики? — Я, Любовь Сергеевна, не видела. — У Лидки слезы навернулись на глаза.

— Не видела? — Ботаничка удивилась, а потом применила педагогический прием. — Успокойтесь, Ягнышева, я уверена, что зачинщики сами признаются.

— Конечно, признаются. — Я встал за партой, а когда увидел, что вслед за мной поднялась и Светланка, мне стало совсем весело.

— Выйдите и посмейтесь за дверь. — Ботаничка не шутила.

Мы быстро прошли по классу — и за дверь. Светланка шла первой, и я видел, как ее плечи вздрагивали от едва сдерживаемого смеха. В коридоре мы как грохнули, в классе тоже многие засмеялись.

Потом мы услышали:

— Удивляюсь Кармановой: попасть под влияние Губкина! С тройки на двойку, с двойки на тройку...

Домой я шел с Эдькой Воскобойниковым. Он всю дорогу изображал в лицах, как ботаничка возмущалась, особенно мной. А

потом Эдька рассказал мне, что задачу по геометрии Светлана решила раньше меня. Я похвалил Светланку: «Очень даже стоящая девчонка!» Но после этого случая давать Эдьке читать свой дневник перестал. Вот в тот день, двадцать второго сентября, я и сочинил свое первое стихотворение. И еще написал в дневнике «Записки юного натуралиста»:

«Мне сегодня исполнилось 13 лет. Я чувствую, что ..... Светку Карманову. Через пять лет вместо многоточия я поставлю одно слово. Клянусь, что никому не дам обидеть ее. О слове она ничего не должна знать. Это слово пока тайное даже для нее».

С тайной этой ничего не вышло, хотя дневник мой с 6-го класса не читала ни одна живая душа, даже Эдька. Но о моем отношении к Светланке Кармановой сегодня знают все.

Случилось это нынешним летом. Наша корова Розка наконец-то отелилась, и мама сказала:

— За Розкой присмотрит Лида Ягнышева, а ты отправляйся к отцу.

И я поехал к отцу в первую бригаду. Там, долго не разговаривая, отец отвел меня к дяде Васе — начальнику тока, и тот предложил мне на время уборочной работать вторым грузчиком на ЗИЛе. ЗИЛ стоял у крайнего бункера, и я не сразу разглядел первого грузчика. Только когда встал на крыло, то увидел, что первый грузчик — девчонка. И не кто-нибудь, а Светлана Карманова.

— Ты?!

— Я, — сказала Светлана и села на запасной баллон. — Тебя вторым прислали?

— Ага, — не переставая удивляться, ответил я.

— Тогда залазь. — Наверное, мое удивление развеселило ее, потому что она, засмеявшись, повторила: — Залазь же!

Вообще-то в том, что Светлана очутилась на ЗИЛе, не было ничего особенного. Светлана давно хотела поработать в колхозе,

но у нее никак не получалось. Каждое лето она уезжала к тетке в Арзамас и вот только теперь, перейдя в девятый класс, сумела настоять на своем.

— Залазь же, а то солнце уже вон. — Она двумя пальцами потащила косынку, и та вытянулась козырьком.

Светланка стала походить на деревенскую женщину, привыкшую прятать лицо от солнца.

— Ты на одну актрису похожа.

Я залез в кузов и стал смотреть на шофера, несущего воду. Он подошел к машине, поставил ведро. Поднял капот, открутил крышку радиатора и резко бросил под ноги.

— Ох!

— Горячая?

— Накалилась, — подтвердил он. — Другим, что ли?

— Вторым. — Ты седай, бо стоять не треба. — Он вылил воду и подал мне ведро. Я, перевернув ведро, сел на него.

— Хочешь на баллон? — Светланка подвинулась, но я не сел на баллон.

— Валера, значит, ты из-за двадцати дней целый год потерял?

— Какой год?

— Ну, ты же родился двадцать второго сентября.

— А, это из-за Галины Павловны... Завуч такая была, еще до тебя. Ей хоть двадцать дней, хоть один. «... В школу положено только с семи...»

— А мне хорошо, я родилась десятого июня. — Она ухватилась за борт, потому что машина тронулась, и тут же потянулась за сумкой.

— Хочешь, я тебе панаму сделаю, а то потом нос лупиться будет? — предложила Светланка.

— Ну сделай. Только где газету возьмешь?

— Газету? — Она открыла хозяйственную сумку с поломанным замком «молния» и достала газету.

— Хотела хлеб заворачивать, а хлеб забыла. — Она отодвинула сумку и, стоя на коленях, стала мастерить панаму.

— Сейчас как тряхнет! Будет тебе панама!

— А ты не колдуй под руку. Хвостики косичек выпрыгнули из-под косынки ей на лицо, и она смахнула их рукой. Потом Светлана надела на меня панаму, и я сказал, что это не панама, а шлем.

— Пусть будет шлем. Только ты его придерживай рукой, а то сдует. — Она встала рядом со мной, и я почувствовал, как ее легкое платье щекочет мои колени. Светлана то и дело поправляла платье руками и я отворачивался, напряженно смотрел вперед — как бы она чего не подумала! У комбайна ЗИЛ остановился, и штурвальный с мостика крикнул:

— Ишь, девка какого парня отхватила! Нам обоим стало неловко, и мы, не глядя друг на друга, начали старательно рассыпать зерно по кузову. Светлана рассыпала руками. Ее босые ноги утопали в зерне и тоже казались мне золотыми, как и руки. Когда пшеница попадала ей за пазуху, она смеялась, и тогда я работал один: мне хотелось, чтобы она смеялась дольше.

— Ух ты, как работаешь! — Ее восхищение меня не отвлекало. Я с разгону бросался на вершину живой горы и ощущал, как горячее зерно льется на спину и брызгами разлетается по кузову.

На току приходилось основательно махать лопатами, и после десятого рейса Светлана перестала со мной тягаться.

— У тебя по какому разряд?

— Да так, по лыжам... — сказал я.

— А, правильно, — вспомнила Светлана. — А у меня второй по гимнастике.

— Знаю я твой разряд! — брякнул я.

— Не веришь?

Светлана отвернулась, бросила голик, взмахнула руками, и ноги, ножницами чикнув воздух, описали дугу. Светлана так неожиданно выросла передо мной, что я вынужден был подхва-

тить ее, потому что испугался. В ответ она засмеялась мне в лицо, близко-близко, и я тоже засмеялся.

— Светка, ты что всем трусы показываешь? — придерживая одной рукой велосипед, Сашка Цыгальнюк нагло улыбался. Он улыбался так, чтобы мы видели его золотую фикса. Светланка застыдилась, и я не выдержал. Все произошло мгновенно.

— На! — выдохнул я, спрыгнув с машины. Сашка подставил левый локоть, и удар рикошетом задел макушку. В следующую секунду он бросил велосипед и изо всей силы ударил меня в лицо. Споткнувшись о раму велосипеда, я упал на спину, ободрав плечо о протектор ЗИЛа. Сашка прыгнул на меня, но я успел ногой оттолкнуть его.

— Ну, хана тебе! Он схватил лопату, но тут из машины выскочил шофер.

— Не замай хлопча!

Сашка сразу сдрейфил.

— А я что — сам он лез. Светка, держи! — Он бросил лопату в кузов и, подняв велосипед, с разгону прыгнул на седло, покатил к воротам. У ворот оглянулся. — Поговорим в клубе. Ты, Светка, тоже приходи, я уже билеты взял.

— Ладно, кати, кати! — Шофер повернулся ко мне и почему-то шепотом добавил: — Ты стерегись его. Старшой Цыгальнюк за это год отдубасил. — Сплюнув, шофер полез в кабину, а я — под машину: доставать помятый шлем.

Пока мы ехали к комбайну, майкой я стер с плеча пыль и кровь. Сащина была неглубокой, и я о ней перестал думать.

Светка сидела на корточках, обхватив спрятанные под платьем ноги. Вытирать кровь на губах было стыдно, и я, облизывая губы, глотал ее. Потом Светланка встала, и я почувствовал, как опять ее платье щекочет мои колени. Я не смотрел в ее сторону, пока она не сказала:

— Может, он еще извинится?

Тут я взглянул на нее и увидел глаза, полные слез.

— Конечно, извинится! — обрадовался я. — Ты же слышала, мы с ним поговорим об этом в клубе.

Помятый шлем не спасал от солнца, да я и не прятался от него. Неважно, коль уже все так вышло, пусть мой нос лупится сколько угодно, не в этом сейчас дело.

Вечером, в половине одиннадцатого, я надел защитного цвета куртку на «молнии», с косыми карманами по бокам и пошел в наш колхозный клуб. Куртку мне привезла старшая сестра Оля из Владивостока — шикарная куртка! Многие с нашей улицы мне завидовали, а кое-кто из рисозаводских поначалу даже задибался, думая, что я городской или гарнизонный.

В одиннадцать я был возле клуба. Высокая луна уже сияла всю, под деревьями стояла ночь. На прудах играли лягушки, а светлячки, последние светлячки августа, скакали по садам, и это тоже была их песня.

— Иди сюда! Я подошел к группе ребят и сразу всех узнал. Мы поздоровались, и Эдька Воскобойников сказал:

— У танцплощадки тебя ждут.

— Рисозаводские? — спросил я.

— Ну а кто еще? Сашка Цыгальнюк уже со штaketиной подходил. Интересовался.

Вскрикнула гармошка, и мы увидели Леньку Худякова в окружении девчат и парней. Ленька в солдатской форме, подтянутый.

— Привет, орлы!

— Привет, Леня. Давно приехал? — Генка Рогозинский подошел к Леньке, и они поздоровались за руку. Потом Ленька растянул гармошку, вальс «На сопках Маньчжурии» покачнул всех, и они поплыли к танцплощадке. Генка Рогозинский вернулся к нам.

— Танкист, сержантом приехал, три нашивки.

Эдька спросил у меня:

— Из-за Кармановой, да?

— Из-за Кармановой, — ответил я и, чиркнув спичку, бросил ее вверх.

— Что я говорил? — сказал Эдька. Ребята оживились, а Генка Рогозинский бросил мне, хмурясь:

— Ты сам виноват! Он же Кармановой еще в прошлом году записки писал.

— К тому же, Сашка говорит, ты первым ударил. — Толик Рада стал смотреть на меня, и все притихли. Я сунул коробок со спичками в карман куртки и зачем-то стал его там трясти.

— В том-то и дело, что первым.

— Я говорю — сам виноват, — снова сказал Генка. Не обязательно, конечно, было злиться на Генку, но я все-таки разозлился. Все-то он знает — кто виноват, кто записки писал...

— А! — Я махнул рукой и пошел к танцплощадке.

— Валер! погоди! — Эдька Воскобойников догнал меня. — Может, домой пойдем? — Эдька это сказал деликатно, мягко, чтобы я не обиделся, и я тогда открылся:

— Он же оскорбил ее! Больше мы ни о чем не говорили, просто Эдька зашагал рядом со мной. У самой танцплощадки нас нагнал Толик Рада.

— Рогозка сейчас подойдет, он побежал за Витькой Воронковым и Колькой Алтабаевым.

— Привет, орлик! — Сашка Цыгальнюк уже ждал меня.

Выпорхнув на круг, освещенный луной, он так обрадовался мне, будто мы с ним сто лет водились. Группа рисозаводских потянулась за ним.

— Пришел билетик взять? По блату за рубль. — Сашка переложил штакетину в левую руку и достал билет. Я вышел к нему, и мы оказались в кругу.

— Ты что, штакетиной цену набиваешь?

— Ага, цену! — Сашка это сказал с веселой дурашливостью.

Кольцо сжалось... Куртку порвут. Главное — не промахнуться. И спокойно. Эдька Воскобойников начнет сразу... А Светланка не пришла...

— Давай билет. Только штакетину брось.

— А она не мешает.

— Дрейфишь?

Сашка Цыгальнюк засмеялся и бросил штакетину. Потом, обращаясь ко всем, сказал:

— Не возражаете, если он купит тогда еще один билетик на вчерашний сеанс?

Круг зашумел, и Сашка стал тихо подступать ко мне. Я вытащил руки из карманов и услышал, как Ленька Худяков с вальса перешел на фокстрот. Я представил, как все танцуют на танцплощадке и у Леньки из-под фуражки лихо выбивается чуб.

А Светланка не пришла...

Сашка подпрыгнул, и я, падая, изо всей силы ударил его ногой. Вскочили мы разом. (Ленька аккордами играет... Так легче... Надо не так...) Сашка протянул руку, и я увидел, как ему подали штакетину.

А Светланка не пришла...

Я выпрямился, и он попался. Пригнувшись, я почувствовал, как штакетина чиркнула по макушке. Сашка крутанулся, и я врезал ему в челюсть...

Когда Рогозка прибежал с Витькой Воронковым и Колькой Алтабаевым, мы уже сидели у колодца. В ведре плавала луна, и мы по очереди, не торопясь, трогали ее губами. Луна была холодной. И я почему-то подумал, что вот уже и август, и скоро мне исполнится шестнадцать. И еще о том, что мой отец женился в шестнадцать. Странно. До революции всех женили так рано...

— Знаете, а я никогда не женюсь.

Эдька Воскобойников странно посмотрел на меня одним глазом, второй у него заплыл, и мы засмеялись. — Эдик, теперь тебя

дома не узнают, — сказал я ему.

— Да ты посмотри на себя! — Он потянул лоскут от моей куртки, и Толик Рада, осторожно щупая свое плечо, заулыбался.

Мы легли на траву и долго молчали. И думалось хорошо обо всем. Например, о том, что на следующий день я чуть свет убегу на ток. И на следующий тоже.

— Может, по домам? — Эдька Воскобойников встал.

— По домам. — Я пожал всем руки, и луна провожала меня до самого сеновала.

Ложась спать, я почему-то опять подумал, что вот уже и август. «Нет, никогда не женюсь». Закрыв глаза, я увидел Светланку. «Хочешь, я тебе панаму сделаю, а то потом нос лупиться будет?»

В ту ночь я долго думал. Так, обо всем хорошем. О Светланке, о том, что я никогда не женюсь.

О том, что Сашка Цыгальнюк писал Светланке записки, я старался не думать.

Второго марта мы все еще учились в филиале возле аэродрома. В новую двухэтажку мы начали ходить только с седьмого марта.

Была контрольная по химии. Мы с Эдькой и Колькой Алтабаевым решили первый вариант и сделали контрольную за один урок (давалось на контрольную два). Второй урок мы сидели на лавочке возле школы и смотрели, как тает снег и бегут ручейки. Солнце блестело в этих маленьких ручейках, и они текли, текли, как расплавленное серебро. А может, вовсе и не как серебро — просто мне так казалось.

Мы сидели на лавочке, и вдруг самолеты стали реветь.

— Моторы разогревают. Полеты будут.

Это сказал Колька Алтабаев. У Кольки Алтабаева отец полковник — начальник заправочной автоколонны. Оно и правда, минут через десять над аэродромом взмыл вначале один самолет, потом второй. Нам не видно было, как они разгонялись по взлетной по-

лосе, столовая для летчиков-офицеров все это загоразживала. Мы начинали их видеть, когда они отрывались от земли, когда они уже скользили над столовой. Так что нам со стороны казалось, что они взлетают с ее крыши. Эдька так и сказал:

— Прямо как будто с крыши взлетают.

Колька Алтабаев на это сразу прореагировал:

— Ага. Сейчас еще один взлетит. Три самолета — звено...

А я думал в этот момент о столовой для летчиков-офицеров. Я в эту столовую, когда был в пятом классе, довольно часто ходил. У нас квартировал дядя Ваня — летчик, капитан. Он летал на зеленых ИЛах, и мы их звали «дугласами». У дяди Вани всегда было полно талонов в столовую. Он, бывало, подзовет меня и скажет:

— Валер, будь другом, погаси талоны.

Погасить талоны — это значит сходить за него в столовую и позавтракать, пообедать или поужинать. Я очень много раз гасил. Не один, соберется нас человека четыре — я, Эдька Воскобойников, Толик Рада, Генка Рогозинский — и айда туда. Наши коровы пасутся за аэродромом в овраге, а мы в столовую. Зайдем, снимем фуражки (мы тогда все ходили в военных фуражках с голубым полем), сядем за стол где-нибудь в уголке. И тихо сидим — ждем. К нам кто-нибудь из официанток подойдет и спросит:

— Ребятки, а у вас талоны есть?

Я достану талоны и отдам за всех. Помню, как Генка Рогозинский с нами в первый раз пришел. Мы отдали талоны и ждем. Мне всегда нравилось ждать, может, еще больше, чем есть. Вот мы сидим, как будто самые настоящие летчики-асы. А нам всякие кушанья подают. Подносят на тарелочках рис в масле, сладкий. Мало рису, чуть-чуть на донышке. Генка Рогозинский увидел и шепчет: «Фу, да это нашему коту мало». Мы все только улыбаемся, мы-то в столовой не в первый раз. Уже знаем, что рис сладкий дается только для возбуждения аппетита. Потом нам каждому поднесли борщ с мясом, отбивную с жареной картошкой, какао,

шоколад и печенье. Печенье в пачках. Генка Рогозинский борщ не доел, отбивную кое-как, схватил свое печенье и шоколад и бегом на улицу. Он все боялся, что нас с кем-то спутали. Мы, конечно, за ним не побежали. Съели, сколько могли, всего, шоколад и печенье в карманы спрятали и сидим. Официантка подошла к нам за грязной посудой, мы встали, поблагодарили ее и, не торопясь, один за другим пошли к двери. Фуражки только на улице надели.

Генка ждал нас возле коров.

— Ну, чего?

— А ничего! — Мы легли на траву, достали каждый свой шоколад и стали понемножку откусывать.

Когда съели шоколад, и зло на Генку прошло. Толик Рада прочел ему мораль. Ну, хорошо, у нас на этот раз на всех были талоны. А если бы не на всех? Выскочить из-за стола, не предупредив никого, — это же явное свинство! В столовую мы иногда ходили по несколько человек на один талон. Придем, а нам каждому и рис, и солянку, и лангет, и какао. Только печенье и плитку шоколада одну на всех, а всего другого поровну. Если разобраться, официанткам так делать было нельзя: на один талон выдавать по три порции. А выдавали, да еще и спрашивали с сочувствием:

— Ребятки, ну как, наелись?

Тогда, после войны, даже с хлебом в магазинах было туго... Но теперь все это позади. Теперь мы сидим на лавочке около школы и смотрим, как взлетают самолеты.

— Ага, сейчас еще один взлетит. Три самолета — звено! — говорит Колька.

Смотрим мы, смотрим, когда же он взлетит, а его все нет и нет. Колька уже оправдываться начал.

— Взлет не разрешают, ЧП какое-нибудь.

И тут видим: самолет заскользил над столовой, потом задрал хвост и носом бац, бац по крыше (это со стороны так казалось). Потом подпрыгнул, перекувырнулся несколько раз, от него чер-

ные точки и черточки, как брызги, полетели, и белый дым повалил с того места, куда он упал. Дым клубами, плотный и белый-белый, как облако.

— Я же говорил — ЧП!.. Козла сделал!

Но мы уже не слушали Кольку. Мы бежали к самолету. За нами рвануло еще несколько школьников. Солдаты откуда-то появились. Нас обогнали военные пожарки и скорая. Бегущих много стало, а дым, плотный, белый, все валил и валил. Потом его стало относить в нашу сторону. Он был с горьковатым привкусом, но совершенно не вызывал страха. Мне казалось, что я участвую в какой-то волнующей игре.

Мы не добежали с полкилометра. Нас остановили патрули. Самолет упал в овраг, у которого мы с Эдькой Воскобойниковым столько раз пасли коров. Нас остановили, но мы не возвратились. Немножко отошли назад и стали смотреть, как самолет горит. С нами стояло несколько солдат, они тоже смотрели, и один из них, как и Колька Алтабаев, сказал:

— ЧП на весь округ!

А дым все валил и валил. Правда, теперь уже начало проскакивать пламя. Дым сделался еще гуще, потом стал быстро чернеть, чернеть — и ах! Мы даже пригнулись!

— Баки взорвались! Хана! — Солдаты переглянулись, и один из них навалился на нас: — А ну-ка, уматывайте отсюда!

Мы не обиделись. Пошли молча назад. В школу явились к самому звонку. После такого происшествия мы не боялись опоздать, хотя должен быть урок истории, а историком у нас сам Михаил Михайлович — директор школы. Не торопясь, уселись за парты. Вначале сидели тихо, но Михаил Михайлович задерживался, и мы стали разговаривать про самолет. Нас, очевидцев, все расспрашивали, что да как. Не спрашивала только Светлана Карманова. Она сидела прямо, чересчур прямо, и смотрела в одну точку, вроде окаменела. Я сразу почувствовал недоброе.

— Светланка, что с тобой? На тебе лица нет!

Но она не услышала меня, продолжала смотреть в одну точку. От напряжения у нее на лбу выступили капельки пота, а щеки стали прямо красными. Все попритихли и стали наблюдать за Светланкой. А она только нижнюю губу прикусила и совсем не замечает, что в классе уже тихо, и все следят за нею.

— Ребята! — Светланка сказала тихо, одними губами. — Мне страшно. Там мой, мой...

Мы поняли ее. Стали успокаивать, а она все смотрит в эту проклятую точку. У меня мороз по коже пошел, мне самому не по себе сделалось. И тут вошел Михаил Михайлович. Мы еще не успели встать за партами как следует, а он уже...

— Садитесь, садитесь, ребята! Мы сели, а Светланка стоит и не может оторваться от своей точки, теперь уже не красная, а белая, как стена. Михаил Михайлович осторожно подошел к ней и ласково так сказал:

— Света, тебя мама ждет дома... Иди домой.

Я видел в окно, как подъехала зеленая «Победа» и забрала Светланку. Михаил Михайлович, не открывая журнала, начал рассказывать о Великой Отечественной войне. Вначале меня это даже разозлило. «Ишь ты, не по программе пошел. Успокоить хочет... Сейчас о героизме советских людей начнет».

Михаил Михайлович действительно стал рассказывать о блокаде Ленинграда. Мы встретились взглядом. Михаил Михайлович отвел глаза, я уловил в его взгляде сочувствие.

«В сущности, что может сделать Михаил Михайлович? — подумал я. — Он такой же, как и мы, только больше прожил, больше видел. И разве так уже плохо, что он решил нас успокоить?»

— Михаил Михайлович, можно, я пойду домой?

Все переглянулись. Мне стало неловко.

— Иди, иди, Губкин. — Он это сказал сразу, будто уже давно решил отпустить меня и только ждал, когда я попрошу.

Однако я пошел сначала не домой, а в гарнизонный парк. Тополя еще не проснулись, но кожа молодых веток уже подернулась голубоватой дымкой. Снег был мягким и совсем не холодил. Снежки легко получались круглыми, но кидать их не хотелось. Я надевал белые ядра на ветви, и они казались яблоками с обнаженной мякотью. Потом я посидел на скамейке летней танцплощадки. Деревянные полы, освободившись от снега, влажно дышали солнцем. Весна кружилась рядом, и я подумал: «Как это так? Есть я, есть Эдька, есть все люди, которых я люблю. А вот у Светланки не все». Я представил себе, что сейчас в доме у Светланки делается, и прямо сердцем все ощутил. Не по себе мне стало. «В конце концов, каждый когда-нибудь теряет близкого человека. Не в этом дело. С каждой потерей на земле меньше любви для кого-то». Это я прочитал или сам придумал? Да какая разница! Важно, что это правда и с этим ничего не поделаешь...

Нет, не согласен! Неправда это! Просто с каждой потерей надо любить еще сильнее. И тогда любви на земле не убавится.

Надо для Светланки что-то сделать хорошее. Сейчас, немедленно, чтобы она знала... Но что? Что сделать? Может быть, подарить пупсика? Да, да, того самого смеющегося пупсика, которого мы вместе с ней видели в магазине.

— ...Валера, смотри, какой веселый человечек. С таким человечком, наверное, всегда весело...

Глаза искрились. Потом Светланка побежала, и я догнал, обнял за плечи, она почти совсем не вырывалась. А вечером, дома, сами собой получились стихи:

**Сидит человечек рядом со мной,**

**Сидит человечек.**

**Фигурка его излучает покой**

**И празднество встречи.**

**Как только проснется летучая мышь,**

**Как только проснется,  
По лунной дорожке серебряных крыш  
К тебе он вернется.  
Я ждал его долго, и вот он пришел.  
Я ждал его долго,  
Чтоб он научил меня жить хорошо  
И помнить о долге.  
Я вижу, как вечер звезды зажег,  
Я вижу, как в вечер  
По лунной дорожке, неся посошок,  
Спешит человечек...**

Так как же быть с пупсиком? Подарить? Конечно! И стихи тоже. Написать на открытке, вложить в бандероль, потому что она вряд ли завтра придет в школу. Да, бандеролью, это верное дело!

Домой я пришел в три часа дня. Индус, встречая меня, махал хвостом и, прыгая, дважды припечатал передние лапы к пальто.

— Пошел вон! — Дверь поддалась не сразу, и мне пришлось отогнать Индуса от крыльца.

Обидевшись, он залез в конуру. Я вошел в горницу, за зеркалом нашел копилку и через четверть часа уже был в магазине. На почте завернуть пупсика мне помогла телеграфистка. Я попросил ее сейчас же, при мне, поставить на бандероль штемпель, и она поставила.

— Сегодня дойдет?

Телеграфистка окинула меня взглядом с ног до головы:

— Может, и дойдет... если сам отнесешь.

Мне ее шутка не понравилась, и я выбежал на улицу. С юга дул теплый-теплый ветер. Я расстегнул пальто и снял кепку. Гарнизонное шоссе было сухим. Я по тропочке выбрался на него и, топая со всей силой, сбил грязь с ботинок. Весна, ранняя весна пришла. Если бы не самолет, этот день можно было бы считать

превосходным. Если бы не самолет... Если бы не самолет...

Надо было чем-то заняться, уроками хотя бы. Я пришел домой, снял с Индуса ошейник и стал его гладить. Уроки делать совсем не хотелось. ...

В ту ночь мне разные сны снились. Будто идем мы все вместе, взявшись за руки. Все-все, весь наш класс, учителя, отец, мама, старшая сестра Оля. А над лугом солнце, и жаворонки купаются в нем. И весь луг в цветах. И вдруг солнце темнеть, темнеть начало... Смотрим мы и видим, что это не солнце, а самолет разбился. Лес перед нами дремучий вырос, и все спрашивают меня:

— Как же мы вместе пойдём, взявшись за руки, через лес? Тут уж ничего не поделаешь. Раз самолета нет, меньше любви стало, как ты не крути!

— Все равно, — говорю.

Сердиться тут многие на меня начали. Генка Рогозинский упрекать стал:

— Фантазер ты, выдумщик.

Не согласился я с Генкой, вышел вперед и говорю:

— Не убавилось ничего! Пойдем друг за другом, а за руки все равно держитесь: если каждый пойдет сам по себе, то может потеряться. Я пойду первым, за мной пусть идет Эдька, а за Эдькой пусть идет Светлана.

И расставил я всех, и прошли мы через лес, и никто не потерялся. Потом солнце опять появилось, и жаворонки, и луг, и цветы...

Разбудил меня Эдька. Он чуть свет прибежал ко мне и говорит:

— Давай вместе уроки делать.

— Ты чего вдруг?

— Ничего... Скоро конец года, надо подналечь.

Я улыбнулся. Интересный этот Эдька. Уроки здесь ни при чем, просто беспокоиться он начал из-за меня, вот и прибежал чуть свет.

— Знаешь, Эдька, кончай прикидываться. Давай лучше я сразу

спишу у тебя по алгебре и физике.

— Ишь, какой ушлый! Сразу ему! — Эдька тоже улыбнулся и вынул из сумки тетрадки. — Ты вчера где был?

— Нигде. — Рассказывай! А в магазине кто, Пушкин был?

— Я Светланке подарок купил.

— А-а... — Эдька сделался серьезным. Мы помолчали.

— Слушай, не буду я списывать.

— Ты что?

— Точно, я в школу не пойду... Неохота.

— А куда пойдем? — сразу спросил Эдька.

— Можно на речку. Или в гарнизонный парк.

— Давай на речку. Вербы наломаем. Девчонки завтра от радости прыгать будут.

Мы шли по жидкой грязи, держась за плетни. Лужи как и ручьи, были мутными и глубокими. Я несколько раз переносил на себе Эдьку. Эдька посмеивался:

— Ну-ка, старшие братья, выручайте!

Старшими братьями Эдька называл мои резиновые ботфорты. К речке мы вышли у рисо завода. Оранжевая гора половы спускалась прямо к воде, и Эдька, сделав руки подзорной трубой, изрек:

— Все ясно, они идут на белых пирогах. Мичман, вы узнаете пришельцев с Железной звезды?

— Одну минуту, капитан. — Я быстро открыл сумку и, выхватив первую попавшуюся тетрадь, сделал из нее подзорную трубу. — Возьмите мой счетчик, регистрирующий излучение. У меня предчувствие: они хотят нас обстрелять альфа- частицами.

— Не беспокойтесь, мичман, я уже включил противодействующее поле. Спрячьте свой счетчик, вы не на уроке физики.

Я посмотрел на тетрадь, тетрадь была по физике.

— Капитан, я восхищен вашей догадливостью.

— Ерунда! — Эдька сбросил сумку и начал снимать пальто. —

Когда я проходил практику на Центавре, был подобный случай. Сейчас самое главное — захватить одну из пирог. — Эдька аккуратно положил пальто и стал спускаться к излучине реки.

— Капитан, разрешите мне... Ученый совет не простит Вам этого риска. — Эдька остановился, я тоже притормозил и сбросил пальто.

— Узнаю, узнаю, я в ваши годы тоже был таким горячим... Посмотрите. — Эдька показал на шевелящиеся льдины, теснящиеся в излучине, — они казались живыми.

— Понимаю. Мы должны захватить самую большую пирогу и выйти в океан?

— Мичман, ученый совет не ошибся, заменив вам биологические мозги на электронные. — Эдька вошел в роль, в его голосе зазвучали убийственные металлические нотки.

— Да, капитан, ученый совет знал, с кем мне придется работать. — Я подошел к воде и ногой толкнул льдину, она, чуть- чуть отойдя, опять краем чиркнула берег.

— Капитан, потребуются багры.

— Вы хотите сказать, рулевые пушки, мичман?

Мы вытащили две подходящие жердины из груды, лежавшей возле кирпичной трубы, и Эдька сказал:

— После операции «Голубой анабиоз» пушки оставим здесь.

— Да, капитан...

Запрыгнув на льдину, мы оттолкнулись от берега, и операция «Голубой анабиоз» началась. Мелкие льдины, налетая на нашу «пирогу», со звоном крошились. Эдька стоял на выступе — мостике судна.

— Мичман, пришельцы пустили на нас бронированных черепах... Держите пушку наготове!

Под давлением увесистых льдин наши жерди опасно выгибались, а концы стали обламываться.

— Капитан, чудовища неповоротливы, надо лавировать.

— Давай, — согласился Эдка, и мы стали проталкивать свою льдину на быстрину.

— Капитан, как бы мы не проскочили «голубой лес».

— Ерунда, наберем скорость, а на повороте свернем и будем в лесу.

Мы разом оттолкнулись от потемневшей «черепашки», вынырнувшей у левого борта, и выскочили на течение. «Пирого» медленно повернулась, и Эдка оказался сзади.

— Капитан, управление беру на себя, отказали счетчики.

— Не торопитесь, мичман, надо использовать инерцию.

Я попробовал жердиной глубину. Дна не достал. Вода у края льдины пузырилась и шипела.

Льдина наращивала скорость. Операция «Голубой анабиоз» входила в решающую фазу.

— Слушай, Эдик, давай тормозить. Если на повороте встретится коряга, нам труба.

— Точно, мичман. Мы стали грести жердинами. Я снова попытался достать дно, его по-прежнему не было. Льдина угрожающе набирала скорость.

— Отставить! — сказал Эдка. — Силы надо беречь. Положимся на случай.

— Вы правы, капитан. Давай присядем.

Мы вытащили жердины и присели на корточки. Ноги наши по щиколотку стояли в воде.

— Может, сапоги снимем? А то будет трудно.

Я расстегнул ремни ботфортов.

— Подождем. Теперь мы смотрели вперед, льдину разворачивало. Задав дыхание, мы держали жердины наперевес, готовые каждую секунду упереться ими в корягу. Я посмотрел на холм: он медленно уплывал за спину.

— Смотри вперед! — Эдка ждал поворота. Вода у льдины булькала и казалось, что она кипит.

Из-за тучки вынырнуло солнце. Вода засеребрилась, и Эдька сказал:

— В крайнем случае, до кустов метров шестьдесят.

— Кто его знает, может, и там с головкой.

— Не должно.

Ноги стали затекать. Я решил привстать. Но в этот момент подо льдиной что-то повернулось и заскрежетало. Правый край льдины вылез из воды. Льдина качнулась, Эдька не удержался и, упав на четвереньки, боднул меня в грудь.

— Тише ты! — Я схватился за Эдькино плечо.

Мы стали медленно съезжать со льдины, как с горки. Подо льдиной кто-то опять зашевелился, сзади нас гулко крикнуло.

— Ложи-ись! — У Эдьки остановились глаза.

Густая жижица потекла за пазуху и в сапоги. Нас подбросило, как на сковородке. Льдина, вернее, то, что от нее осталось, выровнялась и, медленно отворачивая от быстрины, пошла к кустам. Первым пришел в себя Эдька. Покрутив головой, он торжественно изрек:

— Кажется, с пришельцами покончено.

— Да, капитан, рулевые пушки... Слушай, Эдька, а холодно-то...

— У меня у самого зуб на зуб... Дотянем до кустов, а там самое большое по пояс.

— Может, по льдинам... А вербы ломать будем?

— Мичман! — Эдька попытался прикрикнуть на меня, но у него не получилось.

— Ладно, Эдька, ну их, этих пришельцев. Стань на тот край. — Я сел и, свесив ноги, достал дно. Подтолкнув нашу «пирог», теперь более походившую на шестигранник, запрыгнул на нее и тут же соскочил. Мы врезались в кустарник, заполненный льдом.

Наломав вербы, по льдинам мы легко допрыгали до земли. Меня начало трясти.

— Дав-вай скорей, а то дуб-ба врежем!..

Дома мы развесили одежду и сели у печки. Огонь в ней гудел, иногда поленья потрескивали, и тогда розовые искры с дымом устремлялись в трубу.

— Валер, ты, если не хочешь, не говори... У тебя что-нибудь было со Светланкой?

— Ты с чего взял?

Эдька бросил полено в печь. Рой искр, лизнув кирпичи, выгнулся и пропал в трубе.

— Ты с чего это взял? — повторил я.

— Да я-то ни с чего... Техничка Капитоновна про тебя целую картину нарисовала.

— Какую картину?

— Помнишь, во время урока за мелом ходил?.. Захожу, а в учительской Капитоновна окна протирает. «Оно бы и ничего, но они ж по вечерам в классах сорють...» А Русалку ты же знаешь... «Вы бы, Надежда Капитоновна, лучше сказали, кто сорит». — «Да разве ж упомнишь, их на день... ажио в голове кружится. Вчерась вот торкнулась в девятый бэ...» Русалка так и застыла, класс-то наш... «Заперто, я ключом... А они с той стороны, значит, скамейкой. Спрашиваю, чего в потемках-то со скамейкой?.. А этот, как его, рыженький такой, все у вас стихи рассказывал...» — «Губкин, что ли?» — «Вот-вот. Ее загораживает, а я как глянула, у нее по лицу пятна, а передник помят. Бесстыдница, говорю. Она как даст деру. А этот, как его...» — Тут Русалка увидела меня. — «Воскобойников, в чем дело?..» Ну, я взял мел и ушел.

Я почувствовал, что Эдька решил всего мне не говорить. Но даже то, что он сообщил, меня разозлило. Честно говоря, я никогда не думал, что из-за такой ерундовой выдумки можно разозлиться.

— Ох и сказал бы я об этой Капитоновне, да неохота.

Мне до того стало не по себе, что я встал и начал ходить.

— Все же совсем не так было... Мы по геометрии делали, а первачки заглядывали, мешали... Я, например, даже не заметил, как темнеть начало.

— А ты ее целовал? Только честно.

— Да, но не в классе, а в феврале... В день Советской Армии.

Эдька почему-то вздохнул:

— Не обращай внимания на Капитоновну. Плюнь! У нее не все дома.

— Не в этом дело... Вот Русалка... Позавчера я с ней поздоровался, а она: «Губкин, может, проводите меня?» А сама лыбится и головой качает. Я говорю: «Пойдемте!» Пошли, а она ни с того ни с сего начала мне рассказывать, что только сейчас беседовала со Светланкиной матерью.

— Валера, не обращай внимания!

— Не в этом дело... Я разве из-за себя... Если Русалка... Просто страшно подумать! У Светланки и без того...

— Не обращай внимания. Лучше ей подарок хороший сделай на восьмое марта.

— Я уже отправил бандеролью. Вчера.

— Вот и правильно.

Эдька стащил с веревки брюки и начал надевать.

— Если что, я любовное послание Ягнышевой пошлю.

— Ты чего?

— Так... А если еще Толик Рада кому пошлет, и Колька Алтабаев, то вообще будет здорово. Тогда вас никто не тронет. Восемь человек — это уже почти полкласса, а там, где полкласса, это уже не частный случай, а явление.

Эдька взял сумку и добавил:

— Русалка первая побоится и для ясности все замнет. Ведь ей как классной руководительнице нагорит первой.

Эдька подмигнул и сказал: «Держи краба, мичман!»

Мы пожали друг другу руки, и Эдька пошел домой. Закрывая

калитку, он еще раз сказал:

— И не обращай внимания, ерунда!.. Да, завтра захвати вербу, а я бутылок штук шесть возьму. — Эдка снова подмигнул, и мы опять пожали друг другу руки.

Настроение у меня чуть поднялось, и я решил заняться скворечниками. В шестом часу с работы вернулась мама. Увидев, чем я занят, сказала:

— Вот увидишь, еще снег будет! — Она села на лавочку возле летней кухни, а я работал, сидя на крыльце. — Управился с коровой?

— А чего с ней управляться? Почистил в сарае да сена положил.

Мама вздохнула и стала смотреть, как я ремонтирую скворечник.

— Что-то в твоих скворечниках даже воробьи не живут. — Это она нарочно, меня поддразнить. — Может, что делаешь не так, у отца бы спросил.

— Сам управлюсь.

Уголками глаз я увидел, что мои слова произвели на нее впечатление. Я отложил молоток и, встав, сделал несколько упражнений из физзарядки. О чем мама подумала? Что я уже совсем взрослый?

— Уже батьку догнал, а ума нету, — неожиданно заключила она.

— Как это нету! Спроектировал такие скворечники! — Я возмутился просто так, для формы. Честно говоря, мне было приятно слышать, что я батьку догнал.

Мама улыбнулась, и я вдруг увидел, какая она маленькая, хрупкая, в больших резиновых сапогах не по размеру, в телогрейке. Платок сбился назад, волосы реденькие, серые-серые, потому что уже наполовину седые, и на лице морщинок много-много.

— Мама, какая ты маленькая! — удивился я. Она сразу сникла,

и я почувствовал: если сейчас скажу еще что-нибудь в таком духе, мама не выдержит и заплачет. Нервы у мамы никудашные. Поэтому я схватил штангу и, выжав, со всего маху бросил на землю. Колесо с комбайна, звякнув, тут же отвалилось, но я бодро крикнул:

— Ничего, мама, ты маленькая, а я здоровый. Сейчас корове кину всего один навильник сена, и ей хватит на всю ночь. — С разгону я перемахнул через ограду, отделяющую двор от сеновала, и побежал к стогу.

Думаете, я не знаю, что мама подумала на этот раз? Наверняка опять о том же: «Уже батьку догнал, а ума нету». И подумала она так для того, чтобы я не зазнавался. Как это так: в один день и батьку догнал, и ума набрался? Так что насчет ума мама подумала с умыслом — ведь дети даже мысли своих родителей слышат. По крайней мере, мама считает, что я слышу.

В девятом часу с работы пришел отец. По кухне витали вкусные запахи ужина. Они проникали даже в мою комнату, но я на них не обращал внимания. Я делал вид, что учу уроки. Отец, умывшись, заглянул ко мне, но я от книжки не оторвался, и он подумал: «Пусть учит, поговорим после ужина».

Я ведь и в самом деле слышу мысли и отца, и мамы. Разве что только виду не подаю.

Потом, минут через десять, из кухни разговор доносится. Решил: пойду воды попью и посмотрю, кто это к нам пришел. Только встал, слышу:

— Вы знаете, учиться он может хорошо, способный, но в последнее время...

Ба, да это же Русалка!

— ...стал опаздывать. Мне кажется, что здесь увлечение...

Русалка понизила голос, и я не расслышал, какое увлечение она имеет в виду. Вначале я хотел подойти к двери и послушать, что она говорит. Но потом подумал: принципиально не буду. Я открыл рассказ Антона Павловича Чехова «Человек в футляре» и стал чи-

тать вслух. Ясное дело, читаю, а сам поневоле думаю: «Неужели и про случай с Капитоновной расскажет?.. Про самолет расскажет... Про самолет правильно, это надо... А про случай с Капитоновной тоже надо?.. Да я не за себя боюсь, я что! Не за себя...»

— Валера, иди есть, — позвал отец.

По голосу я понял, что он на меня не сердится. Сел я, как обычно, с правой руки у отца, мама с левой. За столом могло усесться еще человек пять. Стол на кухне у нас большой, но в праздники, когда к нам приходят родственники, даже этого стола становится мало. Тогда из моей комнаты мы выносим второй стол.

Я попробовал суп и сказал:

— Белого петушка, да?

Отец ничего не сказал, а мама ответила:

— Белого, белого... Ешь!

И я подналег на суп. Потом отец разрезал головку лука и одну дольку положил мне. Я не отказался, а мама сказала, что у нее от лука сердце давит.

— Это не от лука, погода меняется, — сказал отец.

Я, вспомнив разговор с мамой, спросил:

— Неужели снег еще будет?

— Не должно, — ответил отец. — Был у деда Дубовика, говорит, через недельку яблони начнет открывать.

Больше мы с отцом не разговаривали, пока не поужинали. Начали говорить только после того, как мама убрала посуду и вытерла стол. Это у нас так заведено. Мы с отцом разговариваем, а мама садится рядом и что-нибудь вяжет. Мама делает вид, что не слушает нас, даже что-то напевает себе под нос, а на самом деле она очень внимательно слушает наши разговоры, ей нравится их слушать, потому что наши разговоры всегда интересные.

Так вот, начали мы с отцом разговор про скворцов и раннюю весну, а потом он говорит:

— Раиса Константиновна приходила.

Честно говоря, я ждал, когда он про нее скажет. Но никак не предполагал, что этим все и кончится. Отец тут же перевел разговор.

— Михаил Михайлович в район поехал, с председателем... Десятого марта новую школу откроем... Школа у вас... — отец засмеялся, — как университет, за день все классы не обойдешь.

— А ты видел спортзал? — обрадовался я.

— Наташа, у них спортзал — туда Лободанская церквушка со всеми куполами войдет. — Отец поставил локти на стол и носовым платком вытер лоб. Мама почему-то глянула на отца с осуждением, но отец, весело посмотрев на меня, добавил: — Ладно, ступай учить уроки, нам завтра с матерью чуть свет на поле ехать. — Он встал из-за стола и пошел в комнату. Мама, недовольно положив на стул недовязанную шаль, пошла за ним.

— Алексей, я ж тебя просила поговорить с ним.

Дверь комнаты резко захлопнулась. Русалка все-таки сказала. Сейчас поссорятся...

Я выключил свет и пошел к себе. Не раздеваясь, лег на койку и стал думать о себе, о Светланке, о ее несчастье...

Разбился самолет. А когда разбивается самолет, вместе с ним разбиваются мечты. Это я в одной книжке читал. Когда увидишь это наяву, и без книжки к таким мыслям сам придешь. А самолет был серебряный, а небо было в тот день чистым и светло-голубым, а солнце было ярким, а ручьи текли и на солнце тоже казались серебряными. Я еще когда на них смотрел, думал: прямо, как расплавленное серебро, текут, текут...

Пятого марта в колонном зале Дома офицеров все зеркала были затянуты материей. Под знаменами стояло три закрытых гроба. Обитые черными лентами, они хранили человеческий пепел, смешанный с землей. Человеческий пепел неотделим от земли. Земля

существует шесть миллиардов лет (ученые так говорят), люди на Земле миллионы лет живут. И вот все эти годы люди жили, умирали по старости, на войне, по несчастному случаю, и всегда их хоронили в земле. И выходит, с каждым годом человеческих частиц в земле все больше и больше накапливается. Возможно, в каждой маленькой шепотке земли уже есть наши частицы.

Я вот, когда пас коров, бывало, лежу в траве, смотрю, как муравейчики бегают, суется. Или наскучит — за жаворонками наблюдаю. И вдруг ни с того ни с сего под сердце как толкнется радость, раскину руки и обнимаю землю, потом вскочу и заору:

— Зем-л-я-я! Жи-и-изнь!

Коровы поднимут головы и смотрят на меня, а наша Розка — та обязательно еще головой тряхнет и только потом уже начинает опять пастись.

Я об этом обо всем как-то само собой вспомнил, когда хоронили Светланкиного отца. Не увидит он теперь ни травы, ни жаворонков, ни муравьев. Жутко стало. Я не подходил близко к хоронившим, я стоял у старой могилки летчика, над которой вместо памятника была установлена небольшая вышка с пропеллером. Железные рей вышки были покрашены в голубой цвет и казались воздушными. Взвод солдат вскинул карабины, и грянуло три залпа — салют в честь отважных летчиков, в честь Светланкиного отца. На кладбище вместе со Светланкой и ее мамой была Клавдия Ивановна — Светкина тетя из города Арзамаса. Тетя и Светланкина мама были во всем черном, а Светланка, как обычно, в зеленом плюшевом пальто с капюшоном. Я со Светланки не спускал глаз. Светланкино лицо было строгим, а слез не было. Она вместе с тетей поддерживала мать под руки. Светланкина мама плакала очень сильно, несколько раз падала в обморок, а когда вырос холм над могилой, стала просто умирать. Глядя на все со стороны, я не выдержал и протиснулся к Светланке. Она, как увидела меня, упала мне на грудь и тоже заплакала. Дальше все

было как во сне. Я даже не помню, как добрался домой. Помню, что ехал в зеленом автобусе, мы сидели со Светланкой вместе. Я держал ее руки, они были мягкими и горячими. И еще не помню, как мы остановились в подъезде ее дома. Мимо нас все проходили. Мы никого не замечали.

Потом открылась дверь квартиры, и тетя позвала Светланку. Светлана всхлипнула и, быстро поцеловав меня в щеку, побежала домой. Мне не понравилось, как тетя, прежде чем закрыть дверь, окинула меня взглядом с ног до головы и осуждающе покачала головой. «Что я такого сделал?» — подумал я. И посмотрел на себя. Пальто было чистым.

Вот все, что я помню отчетливо. Остальное прошло как во сне.

На следующий день Светлана пришла в школу. Девчонки сразу окружили ее, то да се, а мы с Эдькой девчонкам вроде сердито: — Сороки, дайте человеку портфель положить.

А на самом деле мне очень даже приятно было, что девчонки ей так сильно сочувствуют.

Светланка даже заулыбалась девчонкам, а увидев на окнах вербу с проклевывающимися листочками, воскликнула:

— Девочки, какая прелесть!

Все было хорошо в тот день. Не понравилась только Русалка: она, когда спрашивала Светланку об Антоне Павловиче Чехове, смотрела на нее, как на больную. Русалка этим показывала, как она глубоко понимает Светланкино горе и как внимательна к каждому из нас.

— Садись, Светлана, отлично.

Она долго выводила в журнале оценку, а после, посмотрев на меня, сказала:

— Губкин, ты что-нибудь понял?

Я удивился. И, не вставая, ответил:

— А что здесь, собственно, можно не понять?

— Встань, когда разговариваешь со старшими!

— Можно и встать. — Я нехотя поднялся.

— Ты о себе очень высокого мнения, а по всем сочинениям выше удовлетворительной оценки не поднимаешься. — Русалка говорила вроде бы со мной, а сама на Светланку смотрела: очень уж ей, видно, хотелось унижить меня в Светланкиных глазах.

— Удовлетворительно — это ведь, кажется, тоже положительная оценка. Так что кое-что могу понять.

— Вот именно — кое-что! — Русалка натянуто улыбнулась: улыбаться ей не хотелось.

— Раиса Константиновна, — я тоже улыбнулся, — вот Вы недавно упомянули про поэта Надсона, а ведь его творчество мы, по существу, не проходили. Вы хоть одно его стихотворение знаете наизусть?.. Наверное, нет, потому что по программе от Вас этого не требуется.

Тут, конечно, была бы буря, но зазвенел звонок, и Русалка только и сказала:

— Насчет твоих знаний сверх программы, Губкин, мы еще поговорим. Кстати, я теперь вижу, что была не права, когда не хотела тебя обременять этим разговором.

Она подхватила со стола журнал и прямо-таки вылетела из класса.

На втором уроке Эдька толкнул меня и кивнул на окно. Я посмотрел и увидел, как через калитку во двор школы вошла Клавдия Ивановна, Светланкина тетя из Арзамаса. Она обошла лужу, в которой блестел ледок, и направилась ко входу. На Клавдии Ивановне была черная шляпка, темное демисезонное пальто, левой рукой она прижимала бордовый лакированный ридикюль.

Вторым уроком у нас как раз была физика. Уроки по физике я люблю: мы недавно с Василием Петровичем и с несколькими десятиклассниками приемник собрали. Тут Василий Петрович спросил меня про электронную лампу. Но я даже вопроса не расслышал.

— Губкин, ты что, заснул? Иди к доске, начерти схему электронной лампы.

Я встал, но даже не успел дойти до доски. Открылась дверь, и вошла Русалка. Она извинилась перед Василием Петровичем за вторжение и попросила меня пройти в учительскую.

Я начертил схему и только потом пошел в учительскую. Дверь была открыта, и я услышал:

— Я бы, конечно, к Вам (это, значит, к Раисе Константиновне, нашей Русалке) не обратилась, но у нас в Арзамасе был подобный случай. И кончилось все это...

Клавдия Ивановна увидела в дверях меня и осеклась. Русалка повернулась ко мне.

— А, Валерий, садись.

— Да ничего, постою, — сказал я и вдруг увидел смеющегося пупсика. Он сидел на учительском столе возле чернильного прибора и весело смеялся: то ли подбадривал меня, то ли, наоборот, издевался.

Русалка, перехватив мой взгляд, спросила:

— Губкин, только откровенно, ты считаешь себя взрослым?

Я сделал вид, что не расслышал вопроса, и тоже спросил:

— Раиса Константиновна, вы меня звали?

Русалку опередила Клавдия Ивановна:

— Да, звали... Валерий, — она так ласково и нежно обратилась ко мне, как будто я был пятилетней девочкой. — Разговор коснется твоих отношений со Светланой...

— Садись. — Русалка подвинула стул, и пупсик теперь смотрел прямо на меня; он все смеялся. — Губкин, мы все знаем, нам, если хочешь, даже нравится ваша дружба.

Раиса Константиновна сделала паузу, и вместо нее продолжала Клавдия Ивановна:

— Но мы бы хотели узнать о глубине и чистоте ваших отношений. Как ты считаешь, мы имеем на это право?

Я промолчал. Клавдия Ивановна вздохнула.

— Ну, хорошо, скажи, зачем вы как-то вечером закрывались в классе?

Я поднял голову и не стал отводить глаза. Русалка и Клавдия Ивановна ждали.

— Все было не так... Вам сказали неправду.

— А как было?

— Раиса Константиновна, я не хочу даже об этом говорить!

Наверное, тон мой был излишне резким, но, честное слово, так получилось само собой, помимо моего желания. Клавдия Ивановна заволновалась.

— Хорошо, хорошо, Валерий, не отвечай. — Она открыла рюкзочек и достала исписанный лист.

— Сидит человек рядом со мной,

Сидит человек.

Фигурка его излучает покой

И празднество встречи...

Я ждал его долго, и вот он пришел,

Я ждал его долго,

Чтоб он научил меня жить хорошо

И помнить о долге.

В ее чтении стихотворение звучало как-то не так, совсем с другим смыслом. Я даже не сразу его узнал — так она его прочитала.

Клавдия Ивановна отложила стихотворение, а Раиса Константиновна сказала:

— Прекрасно! — Она улыбнулась, и мне ее улыбка понравилась.

— Вот, Валера, ты пишешь, что надо помнить о долге.

— Да, да, Раиса Константиновна, я поэтому и прочла...

— Мне кажется, твой долг сейчас хорошо учиться. Это первое и основное.

— А потом, Валерий, Вы слишком рано позволяете многое в отношениях. — Клавдия Ивановна сказала это мягко, но лицо ее стало жестким, и я почувствовал, что она меня презирает.

— Я могу идти?

Не дожидаясь разрешения, я пошел к двери.

— Стой, Губкин! Клавдия Ивановна и я хотели бы тебя просить не встречаться со Светланой после школы. И о нашей беседе ей не рассказывать. Иначе...

— Иначе что?

Русалка смутилась, а Клавдия Ивановна из Арзамаса, уже не скрывая своего презрения, ответила:

— Иначе я увезу ее с собой. — И сжала губы в полоску.

— Губкин, ты же понимаешь, что конец года, я против ее отъезда. Понимаешь, как много зависит от тебя?

В учительскую вошла техничка и взяла звонок. Я не мог отвести глаз от теткиных губ.

— Раиса Константиновна, я сделаю, как вы хотите.

Я вышел из учительской вслед за техничкой. Зазвонил звонок. Мне навстречу выскочили малыши, я посторонился, и они высыпали на улицу.

В классе меня окружили.

— Василий Петрович тебе пятерку поставил. — Генку Рогозинского сжирало любопытство, он всех расталкивал. — Что такое? Чего вызывали?

— Да ничего, так просто, — сказал я. Сложил в сумку учебники, и тут подошла Светланка.

— Что-нибудь серьезное?

— Да нет же! — Я улыбнулся ей, и Эдька потащил меня в коридор.

— Начистоту! Из-за нее?

Я кивнул, и Эдька сказал:

— Не падай духом, сегодня же послания напишем.

— Какие послания?

— Такие. Любовные. — Эдька хитро подмигнул мне.

— Никаких посланий! В общем, после уроков поговорим.

Нас опять окружили ребята, и Эдька сказал:

— Коротко и никому ни слова! На него давление оказывают из-за того самого. — Все сразу поняли Эдьку, хотя, честно говоря, из-за чего того самого, даже мне было неясно.

После уроков я шел с Эдькой. Светланка тоже хотела с нами пойти, но я сказал:

— Светлана, нам надо с ним поговорить... Прощай!

Это глупое «прощай» вырвалось у меня как-то само собой.

Светланка круто повернулась и, ничего не сказав, побежала к группе девчонок. Я еле совладал с собой. Мне захотелось остановить ее и все объяснить. «Нет, не надо! — тут же решил я. — Так будет лучше. Лучше для нее...» Я повернулся к Эдьке. Эдька, не оглядываясь, медленно шел к гарнизонному парку.

— Эдик! — Он остановился.

— Губ-кин, Во-ско-бой-ни-ков, завтра седь-мо-е! — кричали девчонки хором.

Эдька приподнял кепку, как бы приветствуя их, и девчонки, дружно засмеявшись, замахали портфелями.

— Валер, чего ты? Пусть бы Светланка с нами шла.

— Не надо.

Эдька удивился, и тогда я ему слово в слово передал весь разговор в учительской, потому что этот разговор я буду помнить всю жизнь.

— Так что не надо... И посланий тоже никаких не надо. Только хуже сделаем.

— А что тогда?

— А ничего. Пусть все остается как есть.

— И ты ни разу к Светланке не подойдешь?

— Нет.

Мы с Эдькой долго шли молча, а потом он, как бы разговаривая сам с собой, сказал:

— А может, ты ошибаешься в своих чувствах?

— Кто ошибается?.. — Я остановился.

— Не злись. — Эдька поправил сумку.

— Я не злюсь... А в школу больше не пойду.

Эдька тоже остановился.

— Ты что, спятил?

— В том-то и дело, что нет... Завтра на чердаке просижу, а уж после праздника скажу бате. Неохота на восьмое марта матушке настроение портить. — Решение пришло неожиданно, но я сразу ощутил, что это как раз то, что надо. Мне стало весело.

— А чего? В вечернюю пойду... Прицепщиком поработаю... Батя к себе на трактор возьмет.

— А может, другое что, а?

— Нет, решено. — Я похлопал Эдьку по плечу и сказал: — Уроки я все равно буду делать, ты задания приноси. И в классе можешь всем рассказать о том, что я не хочу ходить в школу. Но про Светланку — ни слова!

— А может, все-таки, Валер, другое что?

— Смотри, машина! — Возле Дома офицеров стоял новый «Москвич». Мы подошли, потрогали его.

— Вот это да! Не то, что старый! — Эдька обошел машину вокруг.

— Если буду ходить в школу, — сказал я, — то не выдержу и подойду к ней.

— Что, нравится? — Хозяин машины, в коричневой шляпе и синем демисезонном пальто, открыл дверцу и сел за руль. Потом опустил стекло, высунул голову:

— Вам куда?

— До колхозного клуба, — сказал Эдька.

— То есть до новой школы?.. Садитесь!

Когда мы уже катили по шоссе, я спросил:

— А откуда вы знаете наше село?

— О, я все знаю... Даже то, что завтра в пятнадцать часов по местному времени будет торжественно открыта ваша школа.

— Не-е... Школа будет открыта десятого.

Человек в коричневой шляпе поправил зеркальце, и я увидел его смеющиеся глаза.

— Спорим?

— Спорим!

— Твой друг свидетель. — Он опять поправил зеркальце, и я понял, что теперь он смотрит на Эдьку. — Вас где выбросить?

— А вон у афиши. — Эдька показал на забор возле пошивочной, и человек в коричневой шляпе резко притормозил. Прощаясь с нами, он сказал:

— Итак, имейте в виду, завтра в пятнадцать... Завтра ведь праздник, и школа совсем неплохой подарок.

— Шикарный! — подтвердил Эдька.

— То-то же! — человек в шляпе засмеялся, и «Москвич», чуть-чуть присев, рванул дальше по шоссе.

— Эдька, кто это такой?

— Представления не имею! Из района кто-то...

— Неужели завтра? А почему нас никто не предупредил?

— Не успели... А может, сюрприз? Валер, а как же ты... Пойдешь?

— Ничего, потом расскажешь... Ну ладно, я через сад.

Мы немножко потоптались на месте и разошлись.

По-настоящему праздник Восьмое марта начинается седьмого. Мужчины говорят: «С наступающим вас!» — «Спасибо, спасибо», — отвечают им женщины и улыбаются.

Седьмого утром я стоял в нашем магазине у витрины «Подар-

ки» и все это наблюдал своими глазами. Большинство мужчин, забегавших в магазин, с ходу бросались к кассе. Потом я видел, как они выбегали с коробками духов. Иногда мужчины в очереди ссорились. Тогда пожилая женщина-продавец говорила:

— Чего шумите, не за пивом же.

Очередь пристыжено затихала. И кто-нибудь у прилавка подтверждал:

— Вот именно! — И, подавая чек, ласково произносил: — С праздником! — Потом, блаженно улыбаясь, неся к выходу.

Утром седьмого было тепло, но солнца не было. Не зная, чем заняться, я побрел к дому. На всякий случай залезу на чердак: вдруг матушку отпустят раньше. Все-таки праздник...

На чердаке я постелил старую вытертую шубу и лег. В ногах валялась связка прошлогоднего чеснока и гора всяких пожелтевших книжек. Эти книжки я вывалил из кадки, когда искал свой дневник «Записки юного натуралиста».

Интересно, будет сегодня открытие школы или нас разыграл этот, на «Москвиче»? Наверное, духовой с рисо завода пригласят или наш колхозный возьмут. В конце уроков всех девчонок поздравлять начнут, Светлана обо мне вспомнит... Конечно, вспомнит, спросит у Эдьки, почему меня нет...

Очнулся я от скрипа калитки.

— Валер, скорей сюда, где ты? — Эдька звал негромко, но голос его встревожил меня.

Что-то произошло...

Я выглянул в окошечко чердака и крикнул:

— Чего шумишь, капитан?

Отмахнувшись от Индуса, Эдька прошел к летней кухне. Увидев меня, он разозлился.

— Слазь, что ли!

Я побежал от окошка, пригнувшись, чтобы не задеть за стропила. Каждый мой прыжок гулко отдавался по всему дому. Над

половой, взрытой ногами, поднялось облако пыли. Я дважды чихнул, пока нырнул в проем чердака.

— Что случилось?

— Садись. — Эдька опустил на крыльцо и подождал, пока я сяду рядом. — Школу сейчас открывать начнут.

Вчерашний, в коричневой шляпе, оказывается, из района, с целой делегацией приехал.

Индус, позвякивая цепью, протиснулся между нами, и мы с Эдькой его погладили.

— У нас всего два урока было, а потом в новую пошли. — Эдька замолчал и опять погладил Индуса. Когда гладишь Индуса, он уши прижимает, а нос поднимает кверху и даже глаза зажмуривает от удовольствия. А мне от того, что Эдька опять стал гладить Индуса и замолчал, очень беспокойно сделалось.

— Светланку видел? — не выдержал я.

— Не видел я ее... Колька Алтабаев после второго урока домой ходил, а сейчас прибежал и говорит, отравилась она.

— Как?! — я вскочил.

— Уксус пила... Да ты, Валер, сядь! — Эдька схватил меня за руку. — Она в районной, а там знаешь какие врачи!.. Да ты сядь, я ж на мотоцикле — двадцать минут и там будем.

— Ты не успокаивай! Не успокаивай, слышишь!

Злоба меня охватила, такая злоба на всех и на все, на всю эту жизнь мою несуразную, и не горько стало, а тошно, до того тошно, что взвыл бы, не будь Эдьки рядом.

— Ты не успокаивай, ты говори, почему это она уксус пила? И вдруг я засмеялся, неожиданно для самого себя. У Эдьки глаза округлились. А меня охватил ужас. С чего, с чего это я?.. Меня трясло, еще секунда — я бы разрыдался. Чтобы этого не случилось, подхватился и бегом к калитке. Там стоял мотоцикл.

Эдька, весь бледный, загородил дорогу:

— Валер! Валер! Ты не поедешь! Тебе нельзя такому ехать!

— Можно! Все уже прошло. — Я отодвинул Эдьку и вышел на улицу. — Из-за чего она, а? Ну, говори, говори, сказано ж тебе — все прошло.

Я присел возле мотоцикла, поднял прутик и начал чертить им на земле всякие кружочки и треугольники.

— У них вчера какой-то скандал вышел с теткой. — Эдька достал из кармана фуфайки тряпку и тоже присел на корточки. — В общем, Светланкина мать после похорон в Воздвиженку уехала. Родственники у них там, а тетка со Светланкой осталась. Мать только уехала, тетка давай права качать. И все допытывалась, для чего вы в классе закрывались и почему ты ей не что-нибудь другое, а именно пупсика подарил.

Эдька замолчал и, сложив тряпку, стал зачем-то вытирать ладонь.

— Дальше, дальше что? — прутик сломался, и кончик его беспомощно повис на коже.

— А то и дальше. — Эдька бросил тряпку и встал. — Каждый день так. А вчера Светланка не выдержала и говорит: «Вы мне, тетя, уроки учить мешаете!» А та как понесла: «Ах, так! Вот до чего уже дошло! Завтра же поедешь со мной..! В этот, как его ... в Арзамас.» Подлетела к телефону и давай междугороднюю вызывать. Светланка на это: «Тетя, если вы хоть слово скажете маме, я...» И заперлась в своей комнате. А тетка орет: «Я еще и соседям всем расскажу! Ишь, как захотелось пупсика в подоле!» И после разное говорила и шумела на улице, когда белье снимала. Светланка в окно увидела, что тетку соседи обступили, и на кухню. Соседи входят в квартиру, тетка разоряется: «Завтра же увезу, еще благодарить будет!» А за что благодарить, если Светланка уже на полу от укуса. Тетка как увидела — в обморок... Только тетке ничего не сделалось, сегодня утром отчалила в Арзамас. И никто ее не провожал. Даже Светланкина мать, хоть она ей и родная сестра.

Эдька взялся за руль мотоцикла и убрал ножку. Я бросил прут и, поднявшись, спросил:

— У дядьки взял?

Эдька кивнул и вместо ключа вставил самоделку. На фаре вспыхнула красная лампочка.

— Тяжелый, гад!

Эдька крутнул педаль заводки и выжал газ. Мотор взревел. Эдька сбавил обороты и сел за руль, я сзади.

— Эдик, поддай на всю!

Он молча кивнул и переключил скорость. За селом мы выехали на асфальт, и у второго километра Эдька выжал газ до отказа. За всю дорогу до райцентра навстречу попались всего две или три машины. А может, их было и больше — я все время смотрел на спидометр. На перекрестках стрелка сползала до шестидесяти, и тогда мне казалось, что мы ползем.

— Эдик, поддай!

Эдька кивал и выжимал рукоятку оборотов до отказа. Стрелка поднималась вверх. Мне почему-то думалось, что стоит отвести от нее глаза, как она тут же опустится.

— Эдик, еще!

Эдька пожимал плечами, стрелка замирала, и я видел в спидометре искрящиеся глаза Светланки.

Не доезжая до села, Эдька свернул на проселочную дорогу. Мы сделали крюк, чтобы не проезжать мимо КП ГАИ.

На центральной улице Эдька выжал газ, и мы пролетели мимо магазинов. Неожиданно за поворотом из палисадника выбежала девочка. Эдька сбросил газ и притормозил. Девочка, увидев нас, остановилась на обочине. Эдька, хмыкнув, отпустил акселератор и добавил обороты. В ту же секунду девочка побежала через дорогу. Не помню, как я крутанул руль, оторвался от мотоцикла, пихнул девочку в сторону и покатился по асфальту. Мотоцикл догнал меня и больно ударил в плечо...

Когда мы вскочили, девочка вбегала в калитку зеленого дома. Мотоцикл ревел, выглядывая задним колесом из кювета. Колесо бешено крутилось. Эдька подбежал к мотоциклу и заглушил.

Потом мы подкатили его к забору и стали осматривать. Фара была разбита, переднее крыло свернуто, а правые подставки для ног согнуты. Ощупали бачок. Целый.

— Все в порядке. — Эдька нагнулся, и я увидел клочья ваты. Рукава черного ватника на локтях треснули, штанина разорвана до колена.

Нас стали окружать зеваки. Из зеленого дома выбежала женщина с ведром воды.

— Может, заведется? — спросил я.

— Вряд ли... — На всякий случай Эдька вставил свою самоделку и крутанул заводку. Мотоцикл, чихнув, затарахтел.

— Вас же ссодят! Нельзя вам! — закричала женщина с ведром, но Эдька уже включил первую, затем вторую.

Не выезжая на асфальт, пробираясь возле самых домов, добрались до больницы. Ворота были открыты, и мы въехали во двор. Я тут же соскочил, а Эдька подвел мотоцикл к УАЗику с красным крестом. Я не стал ждать, пока Эдька поставит его, и кинулся к двери.

— Куда? — пожилая женщина, внимательно оглядев меня, заключила: — А, в травматологический... Направо третья дверь.

Боясь, что меня могут вернуть, я свернул направо и чуть не налетел на Светланкину мать. Она стояла с мужчиной в белом халате. Я замер.

— Ничего страшного, нервное потрясение, недельки через две выпишем. — Мужчина закрыл журнал, а Светланкина мать спросила:

— Доктор, а с переездом...

— Нет, нет, это исключено! По крайней мере, сейчас волновать не желательно. — Доктор оглянулся и увидел меня.

— Вы к кому?

Светланкина мать, вскрикнув, подбежала ко мне.

— Валера! — Она, торопливо открыв сумочку, достала платочек. — Доктор, это же Валера, он весь в крови. — Сжав мою голову обеими руками, она прильнула ко мне и заплакала.

— Ой, да что Вы! Пустяки, мне же нисколько не больно.

— Что с тобой?

— Да мы на мотоцикле тут чуть-чуть...

— Ага, на мотоцикле, так-так... — Доктор это сказал, словно устанавливая диагноз.

Подошла сестра:

— Идемте со мной, молодой человек.

Но Светланкина мать не отпустила меня, и тогда я сказал:

— Я хочу видеть Свету.

— Исключено!

Доктор хотел еще что-то сказать мне, но Светланкина мать так посмотрела на него, что он сразу же смягчился:

— Хорошо, только он пойдет со мной.

Сестра накинула мне на плечи халат, и мы пошли по коридору. Потом мы поднялись на второй этаж. Доктор приоткрыл дверь палаты, и я увидел Светланку. Она спала. Лицо было бледным и строгим. Рядом с кроватью стояла белая тумбочка. Я посмотрел на тумбочку, и сердце сжалось от мучительной тоски и счастья. На ней сидел знакомый человек. Он смотрел на меня и смеялся...

## | ДЕНЬ ПОБЕДЫ |

Яков Антонович, припадая на левую ногу, ходил взад-вперед возле полуторки, ожидая и страшась поезда. Но он не пришел, точнее прийти — пришел, детей не привез. На душе отлегло. Садясь в машину, он видел посветлевшие лица доярок, но как осуждать их. Он попросил Геннадия Пушкарёва остановиться возле колхозного клуба и, пока не скрылся за кирпичной пристройкой, чувствовал на себе молчаливый взгляд баб.

**В тот день с помощью художника он перенес полный текст телеграммы на обратную сторону киноафиши и вывесил на тёсовом заборе напротив детсада.**

**«На днях Хабаровским скорым отправляются дети Дмитриевский детдом. Обеспечьте встречу. Отправку. Усыновлению населением не перечить. Верно. Полковников»**

Телеграмма была отправлена из Владивостока накануне праздника, и этим ее некоторая бестолковость оправдывалась. Во всяком случае, для Якова Антоновича Хвоща, одинокого мужика, бывшего бригадира колхоза «Путь социализма», а теперь предсе-

дателя сельсовета.

«...Не перечить». Он представил сутолоку больших вокзалов, опаздывание поездов, неразбериху, станционный кипятик с привкусом алюминия, пассажиров на крышах и подножках вагонов, настроенных во что бы то ни стало, а первую годовщину Победы отмечать непременно дома, и уже знал - телеграмму отправили загодя в расчете на всеобщее понимание: детям - места в первую очередь. Он глубоко вздохнул. Вполне возможно, не Полковников, а полковник такой-то. Впрочем, если обошлось без путаницы - тогда тем более хорошо, что у отправителя такая звучная военная фамилия. Яков Антонович был уверен, что и на председателя колхоза она как-то повлияет, и он не откажет в машине. «Конечно, он и так не откажет - дети... все же военная фамилия по нынешним временам очень даже неплохо», — думал Яков Антонович, мысленно намечая порядок предстоящих ему работ.

В первый день они выехали на станцию после обеда.

Неожиданно сообщили, что из Спасска к ним прибывает какой-то московский, выбившийся из графика. Яков Антонович, шкандыбая, прибежал на молочно-товарную ферму и на счастье застал Геннадия Пушкарева (приехал с обеденной дойки, въезжал в ворота). Яков Антонович только что дал снять фляги с молоком, а дояркам приказал сидеть.

Влезши в кузов и перебросив непослушную ногу через лавку поближе к кабине, вынул из нагрудного кармана кителя телеграмму и, прочитав вслух, махнул Геннадию, чтобы погонял.

— Там, девочки, все обсудим... скорым со Спасска сорок минут ходу, как бы не опоздать.

Доярки, минуто назад весело поглядывавшие на своего бывшего бригадира, пригорюнились: это же что, лишний рот в дом?

— Э-хе-хе, — громко, будто за всех вместе вздохнул Яков Антонович. - Усыновлению населением не перечить.

Он подтянул ногу: как тут перечить? Два дня назад приезжал

директор детдома, наскребли по сусекам мучки да своего жмыха, с расчетом до июля, с нового полугодия элеватор обещал пособить, теперь не хватит... Яков Антонович опять глубоко вздохнул, и бабы, чувствуя, что их бывший бригадир совсем уже зажурился, заговорили: о батуне, который довольно-таки поднялся, о редиске, по такому теплу и она к двадцатым числам наберет, о крапивном супе, в общем, жить можно.

На станции, оставив полуторку на привокзальной площади у коновязи, покрашенной под шлагбаум, Яков Антонович зашел к дежурному по вокзалу. Дежурил Игнат Воронько, мужик занозистый и скандальный.

Сейчас Игнат изумлял своей вежливостью, точно дорогого посадил Якова Антоновича на свой стул, сам сел на лавку. Разрешил полуторку подогнать прямо к перрону. Объявив, что если понадобится, он задержит поезд.

— Пусть потом телеграфируют, что, мол, Черниговка задержала. А то, понимаешь, стоянка три минуты. Они, эти пассажиры, катят, а того не разумеют, что станция Мучная - это и есть Черниговка, и что она районный центр. А от так, если маленько подзадерживать, то...

Якову Антоновичу никогда не приходилось бывать свидетелем Игнатовых рассуждений, и он очень удивился - такому человеку, как Игнат, нельзя давать власти, все его ограничения и послабления всегда будут противозаконны. Однако его разрешением воспользовался, полуторку подогнал к перрону, чтобы дети еще с поезда увидели и порадовались машине. Да и стоять... лучше здесь.

Дома, невольно стыдясь душевного облегчения, испытанного на вокзале, Яков Антонович мысленно укорял себя: еще ничего неизвестно - хорошо это или плохо, что дети не приехали именно сегодня. Возможно, завтра он не привезет и доярок.

Так оно и вышло. Они стояли на дощатом перроне вместе с директором детдома Дмитрием Ивановичем Коломбиным, а чуть внизу, за нестройным рядом торговок, тоже ожидающих поезда, стояла пустая полуторка с приткнутым к борту довоенным велосипедом. До обеденной дойки было часа два, полдень еще только вступал в силу. В молодой сочной зелени как-то тягуче гудели крылатые музыканты, муравьиноподобные насекомые. В их паутинистом нитье день изнывал, томился. Иногда со стороны речки упругими порывами налетал ветер и словно бы смывал паутину. Рукавастый пиджак Дмитрия Ивановича скидывался, округлые очки взблескивали, он походил на длинноногую умную птицу. Сходство с птицей придавали очки и острый длинный нос. Казалось, что именно носом Дмитрий Иванович все что-то высматривает и высматривает.

Но и на этот раз детей не привезли. Помогая затаскивать велосипед в кузов, Яков Антонович сказал директору, чтобы завтра он не приезжал: мыслимое ли дело, на велосипеде по такой дороге? Пусть лучше подготовятся к встрече, завтра День Победы, может, какую самодеятельность организуют, в некотором роде праздничный стол. А здесь на вокзале они с Геннадием Пушкаревым сами справятся. Якову Антоновичу не хотелось, чтобы Дмитрий Иванович приезжал еще и потому, что надеялся: завтра детей привезут. И хотя дети - есть дети, человеки, а все же люди постараются разобрать большеньких, красивеньких. Те, кто останутся... Надо чтобы им обрадовались в детдоме и в первую голову директор, Дмитрий Иванович, тут его чувства нужно поберечь, не расплескать.

— Ежели что... десятого приезжайте. Да и то... загодя позвоните, — посоветовал Яков Антонович.

За ночь несколько раз просыпался из-за тяжелого натужного гудения бомбардировщиков - учебные полеты. Выходил на ули-

цу, смотрел на сияющую взлетную полосу аэродрома, потом на черное усыпанное звездами небо - Млечный путь, чуть накренившись, лежал, точно озеро в озере. Шорох листьев, сладковатый запах яблонь, холодная колодезная вода, отдающая свежим срубом, вдруг отзывались в душе мучительной тоской по прошлой неудавшейся жизни. Яков Антонович уходил в избу, ложился на широкую твердую, как полати, кровать и засыпал. И опять над ним словно бы нависал рокот самолетов, который, как это бывает только во сне, начинал медленно переливаться в рокот тракторов. Какое-то время Якову Антоновичу слышится стрекот сенокосилки, и он все дальше и дальше уходит с литовкой к реке, высматривает Полю. Вон бежит с кастрюлькой: Яша! Они садятся возле шалаша. Легко, вольно вокруг, повядшая за день трава пахнет, томит, а в небесных прогалинах голубизна, кажется, это их с Полей души, разливаясь, сливаются.

— Коля! Где наш Коля? - спрашивает он, и Полина вдруг отступает, отступает. И уже в военном порядке. Груды развалин, пожара. Перебитые деревья валяются, кора висит, как рваная одежда, и белизна из-под нее, страшно взглянуть, человеческая. Яков Антонович увидел ограду, оторванный пролет запутался в телеграфных проводах, сердце прыгнуло, задохнулось, словно кто-то свинцовым сапогом наступил на грудь. Розовенький носочек, зацепившийся за штaketину, трепыхался на ветру, кричал, плакал: пап-ка-а! Яков Антонович вскидывался, просыпался, опять выходил на улицу...

К рассвету полеты кончились.

Опершись о забор, Яков Антонович смотрел в расширившееся пространство неба, и так же необъяснимо, как ночью, все навело тоску, так сейчас - предчувствие какого-то счастливого исхода. Это новое чувство его немного пугало - чего ему ждать? Но потом пришла бабка Кланыя, присматривающая за его нехитрым

хозяйством, выставила к завтраку стакан наливки. Он искренне удивился: с чего бы? И тут же вспомнил: праздник, День Победы. Чувство окрепло, и час от часу в нем нарастала уверенность: сегодня произойдет что-то такое, что круто изменит его жизнь.

И хотя он старался не думать об этом, приехав на вокзал, несколько не удивился, что встречающих поезд баб - не в пример вчерашнему - много и почти все они записались у него как желающие взять ребенка на усыновление. Тут же на траве возле станционной водокачки, похожей на силосную башню, побирушки разложили на тряпицах хлеб, лук, сало. «Верно бутылку «вермута» тоже припасли», — ни к чему подумал Яков Антонович и едва не налетел на Реньку Воронько, брата начальника вокзала, безногого мужика, черного и кудлатого, приросшего к деревянной тележке, похожей на самокат, которую он размашисто кидал вперед так, словно она была частью туловища.

— Что, Яков, назвал народу? - густым сиплым голосом, пугающим детей и собак, радостно спросил Ренька и, ловко вильнув, покатил к водокачке, держа в подоле обрубков блеснувшую на солнце бутылку красной.

В другой раз такая встреча со всей этой Ренькиной компанией вряд ли обрадовала бы Якова Антоновича, а сейчас и она по-своему помогла хорошему чувству. «Все — люди, все — человеки». Глядя, как со стороны крупозавода и элеватора подходят еще люди, подтянулся, одернул китель, стряхнул пыль с галифе: за свежее обмундирование бабуле надо спасибо сказать, надоумила. Услышав разливчатые переливы гармошки, улыбнулся: сообразуется праздник, самый настоящий сообразуется. Пошел к машине, с достоинством поднял голову, стараясь как можно меньше припадать на левую ногу - все же он здесь какая ни есть, а власть. Однако ощущение себя как власти улетучилось тут же, как только начальник вокзала объявил, что скорый со Спасска выехал - детдом в четвертом вагоне. Раз за разом, доставая блокнот, чтобы

убедиться, что список родителей, пожелавших усыновить ребенка, при нем, и, прежде всего натыкаясь на свою фамилию, Яков Антонович не только не помнил, что ему надлежит сохранять подтянутость, но не помнил себя самого. Так что когда поезд остановился и все, хлынув к четвертому вагону, вдруг почувствовали необходимость присутствия власти, потребовалось некоторое время, чтобы вызволить Якова Антоновича из задних рядов в круг, в котором два начальствующих проводника, размахивая свернутыми сигнальными флажками, оттесняли встречающих от вагона. Собственно, это они потребовали присутствия власти.

— Где власть?! Где? - нетерпеливо справился один из них, и толпа, словно она представляла собой одно единственное лицо, молча оглядела себя и исторгла Якова Антоновича. Теперь он был - как бы все они. И все же он оставался Яковом Антоновичем Хвощем, жителем Черниговки, одиноким мужиком, потерявшим на войне жену и сына и решившим сегодня, сейчас, усыновить ребенка.

Он увидел спускающуюся по ступенькам молоденькую женщину в коричневом жакете и черной шляпке; вуаль, украшенная звездочками, закрывая лицо, придавала ей нелепую для этого случая маскарадную загадочность. Ступив на перрон, она легким кивком откинула вуаль и придержала рукой. В глаза бросились высокие набивные плечи жакета, приподнятые, словно под ними таились сложенные на спине крылья.

— Товарищи, кто здесь из Дмитриевского детдома? - услышал он звонкий взволнованный голос, но не сразу сообразил, что голос принадлежит молоденькой женщине, потому что люди вокруг тоже заволновались, отхлынули от вагона: он увидел свалившегося с самоката Реньку Воронько, бьющегося падучкой. «Ах ты, горе какое!» Неизвестно, как бы обернулось все, не будь городская учительница, как мысленно окрестил ее Яков Антонович, такой крепенькой, такой славненькой, такой находчивой.

Хотя щечки порозовели, она не растерялась, обратилась к народу громко, твердо. Особенно хорошо, что громко, ведь важно каждому всё услышать и переварить самому. Она, конечно, торопилась, начала со второстепенного: прижимая к груди ридикюль, достала бумаги, зачем-то стала перечислять одежду и обувь, которые передаются Дмитриевскому детдому наряду с тремя ящиками игрушек, а также постельным бельем и одеялами, в количестве сорока комплектов. И то сказать, страшновато смотреть на Реньку - живой обрубок, а уж в припадке и вовсе страх.

Пока Яков Антонович, слюнявя химический карандаш, распиывался в соответствующих бумагах в получении, Геннадий Пушкарёв, не поддаваясь общей растерянности, вместе с проводниками выносил на перрон ящики, сундуки. Последний, с постельным бельем (сундук из красного дерева, тяжелый и громоздкий, со старинными вензелями на бронзовых пластинах), пришлось тащить с остановками, мешала девочка лет двенадцати по имени Ольга, вцепившаяся в торцовую ручку рядом с Геннадием. Худая, в застиранном платье желто-серого цвета, наголо остриженная и босая, она вызывала чувство досады и жалости. На все просьбы отстать, отцепиться насупливалась, глаза выпуклые и светлые обесмысливались, она точно каменела, еще крепче сжимая ручку. Когда же сундук начинали тащить, она, словно просыпалась, всеми силами помогала, видно было, как от напряжения выпирают лопатки. «Погодь, погодь, надсадишься», — останавливал Геннадий, но в работе она преображалась. Становилась ловкой, смекалистой и еще немножко суетливой, впрочем, как и все женщины, вынужденные отсутствием физической силы возмещать рвением. Опержая всех, она мелькала то здесь, то там и теперь была как бы главной хозяйкой поезда. Перед тем, как стаскивать сундук по ступенькам, прикинули: как оно, чтобы лучше?... Оля засветилась, выскочила на подножку, ждет, сообразила, что принимать сундук сил понадобится поболее. Ее усердие не осталось

незамеченным, бабы ласково и сочувственно наблюдали: как-то так помощь она окажет мужикам?

Не дотягиваясь до сундука, Олька прыгнула на перрон, схватилась сбоку и все же пособила. «Смотри ты, помощница», — расчетливо громко заудивлялись бабы, и мужики, ухмыляясь, поновому взглядывали на Ольку. Чувствуя на себе эти взгляды, она еще больше старалась. Яков Антонович тоже заметил ее легкую порхающую фигуру, но его отвлек Игнат Воронько. Приказав мужикам перенести в вокзал приведенного в чувство Реньку, он подскочил к Якову Антоновичу с намерением задержать поезд. Городская учительница, пряча в ридикюль подписанные бумаги, опередила:

— Зачем задерживать? Документы подписаны, имущество вот, — она указала на сундуки и ящики, стоящие на перроне. - А детей... Олька! - позвала она, но так как никто и не отозвался, решительно подошла к сундуку, возле которого, точно окаменев, застыла босая, остриженная наголо девочка в желто-сером застиранном ситцевом платье. Минуту назад смекалистая и проворная, она, тупо уставившись, смотрела на бронзовый окраек сундука. Стуча крепкими массивными каблуками, молодая женщина уверенно подошла к ней.

— Ну что ты, как каменная?

Она несколько резковато взяла Ольку за руку, но та, неожиданно отпрянув, вырвалась, схватилась за сундук. Молоденькая женщина растерялась, лицо залилось румянцем, порозовели даже руки. Внезапно испугавшись, что сейчас заплачет, побледнела.

— Товарищи, — голос дрогнул. - С Днем Победы вас!..

Заранее заготовленная фраза, которую городская учительница хотела произнести с пафосом, оборвалась. Она почувствовала в груди горячее покалывание и еще обиду за молчаливое отчуждение баб, они словно отодвинулись от нее. Пересиливая приступ, городская учительница вдруг стала жаловаться быстро, сбивчиво,

что хочешь, как лучше, а получается ... Она не должна была ехать с детдомом, она ехала во Владивосток сама по себе, а ее попросили, а сегодня на вокзалах тьма народа, в Имане и Спасске детей разобрали, а вещи и Олька остались, потому что Олька спрятались... Конечно, она жаловалась, не надеясь на сочувствие, ей было обидно, но, странное дело, бабы теперь как будто придвинулись к ней.

Неожиданный гудок паровоза, резкий и свистящий, заглушил ее, поезд тронулся. Молоденькая женщина бросилась к вагону, на ходу прося всех, чтобы Ольку доставили в детдом вместе с документами и имуществом. Напоследок, с площадки тамбура, крикнула: «Оленька!». Помахала крепдешиновым платочком, который прижимала к губам, удерживая кашель, и уехала. Ничего не осталось от нее, разве что только крик, ударивший Якова Антоновича в самое сердце: «Коленька!»

Ответно взмахнув рукой, Олька вытянулась, удерживая взглядом крепдешиновый платочек, а потом опять сникла, вцепилась в сундук, будто в нем было все ее спасение. «А ведь так и есть, — подумал Яков Антонович, невольно представив на Олькином месте себя. - Должно быть, это ужасно, когда разбирают твоих товарищей, а ты почему-то знаешь, что тебя не выберут, не возьмут и вынужден загодя прятаться от обид в этом огромном спасительном сундуке».

— Отойдите, девчата, расступитесь маленько, — попросил он и, подойдя к Ольке, положил на плечико свою большую ладонь. - Хочу показать ей наши сопки.

Бабы как стояли, не шелохнувшись, так и продолжали стоять. Им говорили об усыновлении и вдруг девочка, к тому же одна, это казалось невероятным. «Сейчас они очнутся», - ждал Яков Антонович, мысленно радуясь, что ход события сам собою попал в его руки и надо только не выпустить.

— Что тебе, Яков?

Теснясь, бабы расступились, обнаружив в конце рваного коридора бельмастого Сашку Безверова со своей двухрядкой на коленях. Он сидел на траве, по-татарски поджав босые ноги, лицом прямо на солнце, но это оттого, что люди теперь его не загораживали.

— Наш Сашка-музыкант, — сказал Яков Антонович и, чувствуя, как Олькино тельце напряглось, успокоил: — Да ты не бойся его, он наполовину зрячий, а голову закидывает для остратки, попрошайничает.

Криво усмехаясь, Сашка сплюнул, но бабы одернули: окстись, тебя сиротинке показывают.

— А я что, а я ничего, — суетливо дернулся Сашка и тоже повернулся вслед общему взгляду, подставив солнцу запятаистую, точно коровий зализ, плешь.

— Видишь, за крышами, синие?

Осторожно подняв голову, Олька вскрикнула:

— Ой, близко!

Бабы согласно закивали: дескать, так, так... А Яков Антонович возразил: близко, но не совсем, вот ежели бы от его хаты, тогда другое дело. Олька не успела и глазом моргнуть, как он подхватил ее и поставил на сундук.

— Маленько в бок смотри, видишь деревья - колхозный сад. А вправо - аэродром. А с этой стороны сада, что к нам - мазанка, белый дом под цинковой крышей - он и есть.

Чувствуя, к чему клонит председатель, бабы разделились: одни приняли сторону Якова Антоновича, другие зароптали - разве так привечают? Пирожочек бы ей, конфетку, приголубил бы, а он водрузил на сундук - смотри. Что она там увидит? Мужик, он и есть мужик, мать ей нужна. Яков Антонович и сам понимал: может, не так оно надо, да уж как умеет. Ежели Олька выберет его - кой в чем, конечно, бабка Кланы пособит, а так сам будет и за отца, и за мать.

— Геннадий, там, в машине узелок на сиденье, принеси, — попросил Яков Антонович, отирая рукавом пот. - Ну что, Олька, нашла?

— Яков, ты ровно маленький, — осудили бабы, но он и сам знал, что увидеть дом невозможно, ему этот разговор с Олькой нужен был сам по себе, как разговор. Но она вдруг привстала на цыпочки.

— А труба какая, кирпичная?

— Кирпичная, — подтвердил Яков Антонович.

— А крыша покатая?

— Покатая.

— Тогда вижу, во-он, возле сада, — сказала Олька.

Яков Антонович, не скрывая горделивого превосходства, так взглянул в сторону роптавших, что они невольно притихли.

— Правильно, возле, — радостно согласился он и так же быстро и легко, как поставил ее на сундук, сейчас снял.

Яков Антонович был уверен: Олька не видела дом. И в то же время не сомневался - видела.

— А знаешь, Олька, я тоже один, как и ты, совсем один.

Он вдруг заволновался и замолчал, подыскивая и не находя нужных слов.

Воротился Геннадий Пушкарев с гостинцами бабки Клани. Уловив Олькин осторожный взгляд, с каким она следила за узелком, бабы всполошились, вспомнили о своих припасах. Яков Антонович хотел опередить их, но как на грех не мог сыскать концов марлевой завязки. «Эх, бабуля-бабуля», — горестно подумал он, кладя узелок на сундук и стараясь успокоиться тем, что мужик, он и есть мужик. Бабы вытаскивали пирожки, шанежки, сахаристый хворост, домашнее печенье, мед и все это протягивали Ольке: возьми, дитятко, испробуй. Испугавшись обилия еды, она отступила вплотную к Якову Антоновичу, который, уже ни на что не надеясь, рассеяно отирал с лица пот, и вдруг со свойственной

ей взрывной энергией Олька схватила узелок и, помогая зубами, в два счёта ослабила завязку, осталось только потянуть ее, чтобы развязать. Польщенный Олькиной помощью, Яков Антонович осадил баб:

— Да погодите вы... у нас все есть.

Он развернул марлю, и глазам предстали действительно те же шанежки, то же домашнее печенье и тот же мед, цветом похожий на коровье масло.

— Мед! - изумленно вскрикнула Олька и тут же посерьезнела.

— Бери-бери, — потребовал Яков Антонович, — это за твою работящность. Я тебе сразу заприметил, думаю: кто эта помощница, что всюду поспеваает? Мне бы такую, а то...

Он внезапно осекся, помолчал. И вдруг ни с того ни с сего рассердился:

— Я ведь что вам, бабы, скажу, вы не смотрите... ежели Олька пристанет до меня - заместо отца и матери буду, в том мое верное слово. А уж там - решайте.

Он махнул рукой не то чтобы пренебрежительно, но довольно-таки грубо. Однако в ответ, будто от нечаянной ласки, сердца баб помягчили: да мы-то что, Яков?.. Одно слово, народ, это она сама пускай решает. Очень по душе пришлось Ольке, что Яков Антонович сразу ее заприметил. Так по душе, что она едва не засмеялась вслух. По правде говоря, она рассчитывала, что ее заприметят. Потому же, когда Яков Антонович потребовал, чтобы она брала, что пожелает, взяла не мед, (она не маленькая), а шанежку. Сердитость, с какою Яков Антонович вдруг ни с того ни с сего набросился на баб, ее не удивила. Олька сама не знает отчего, но тоже осерчала на них. Так что пока они рядились, она, недолго думая, ловко собрала гостинцы в марлевый узелок, потянула Якова Антоновича за рукав - идем. Он растерялся, суетясь, шкандыбнул к ней, хотел в избытке чувств погладить ее мальчишескую головку, а Олька подумала, что это от неуклюжести, поднырнула

и проскочила под рукой. Потом оглянулась, подбежала к сундуку и опустила торцовую ручку, за которую держалась, мягко так придавала вниз и вернулась.

— Ты уж, Геннадий, сам смотри, погрузите имущество и в детдом. А сундук этот опорожнишь и назад привози, Олька возьмет его, ейный он, — твердо сказал Яков Антонович и посмотрел на сундук пристально, со значением, словно надеялся: что и сундук как-то оценит сказанное и запомнит. - Коломбину передашь: я им другой закажу, пусть размеры даст.

Неожиданно для Якова Антоновича Олька прильнула к нему головой, и они пошли. Людской коридор расступился, Сашка-музыкант по привычке вскинул к небу бельмастое лицо, рванул меха, сыпанул «Яблочко». Военная фуражка его с красным околышем опрокинуто-просительно лежала здесь же, на траве. Яков Антонович остановился, зашарил по своим карманам, на что Сашка вдруг яростно замотал головой:

— Иди-иди, ничо не надо, — и так как Яков Антонович продолжал рыться в своих широких галифе, заматерился, прервал музыку. - Я же сказал: ничо не надо, я так играю, для праздника.

Пройдя несколько шагов, Яков Антонович оглянулся, как всегда, повернувшись всем туловищем, вместе с ним оглянулась и Олька. Якова Антоновича заинтересовало: почему Сашка не играет? Однако, натолкнувшись на живую людскую стену молчаливого взгляда, позабыл о нем, подобрался, постоял, чувствуя неизъяснимо окрепшую веру в себя, глянул сверху вниз на Ольку.

— Ужо я им...

Почему он так сказал, бог весть?.. В ответ она сдвинула брови и тоже пролепетала:

— Ужо...

И пряча головку за его рукой, тихо, почти беззвучно засмеялась. Он улыбнулся, и они пошли. Странное дело, но этот ее почти беззвучный смех услышан был и народом. Сашка рванул меха, бабы

зашевелились, вздыхая и поднося к глазам концы крестьянских выгоревших платков, а мужики, словно все им нипочем, стали выкрикивать всякие веселые ругательства, очень похожие на угрозы, в которых бабы улавливали одну только незащитность да ранимость. И потому молчаливо заходились, заходились в ответ под юркое Сашкино «Яблочко».

Яков Антонович и Ольга пересекли вокзальную площадь, вошли в улицу. Они шли от одного двора к другому, и всякий раз, когда кто-нибудь вырастал из-за плетня, Яков Антонович останавливался, сообщал:

— Домой идем, с Ольгой, помощницей.

# | СЛАДКОЕ ШАМПАНСКОЕ |

В восемь утра в районе Южных Курил на сухогрузе типа «Маршал» на мостик вышел третий штурман. Он включил локатор, и светящийся радиус, пробежав по кругу, напомнил ему «дворника» его новенького «Запорожца».

«Хорошая шутка, — подумал третий штурман. — В любую погоду видимость сто»... — Он выключил прибор и, присвистнув, сказал:

— Фью, берег!..

Они с рулевым понимали друг друга с полуслова. Одна школа. Третий засмеялся, у него не выходил из головы случай со вторым помощником капитана.

— Ревизор все еще бесится, — сказал он о втором помощнике.

Рулевой зевнул.

— Иваныч, это туман, что ли?

— Туман, — подтвердил третий.

— Как стена. И откуда он взялся?

— От верблюда, — ответил третий. Нос транспорта будто погрузился в молоко. Исчезли стрелы носовых лебедек.

— Во дает! - оживился рулевой. Третий не выразил удивления, хотя туман поразил и его. Третий любил показать, что он видал

виды. Поэтому медленней положенного он врубил сигнальный свет. Постоял, покачался на месте, опять припал к локатору.

Горизонт был чист, и он небрежно бросил:

— Клади сто восемьдесят, — и пошел в штурманскую.

На свой страх и риск он решил не давать сигнальные гудки. «Пройдет». Третий не услышал, как сухогруз коснулся семиместного бота.

От прикосновения обшивка бота лопнула, как скорлупа ореха. Треск парализовал мальчика, мальчик не мог даже крикнуть: «Папа!» Впрочем, это было ни к чему. Сильные руки подхватили его, и, оказавшись в воде, мальчик всего секунду видел обломки шлюпки и темный борт тающего в тумане великана.

А еще минут через пять сухогруз выплыл из тумана.

Он как бы явился солнцу. Рулевой подумал: «говорить или не говорить? Третий помощник капитана — свой в доску. Не скажу», — решил рулевой и не сказал.

Курсант Высшего дальневосточного мореходного училища - он имел большие перспективы. «Правда, по уставу требуется всё-таки говорить... Мало ли что требуется!» — оборвал он самого себя. Его мучила совесть. Вначале он не доложил о странном треске, донесемся со стороны борта, а теперь не повторил команду штурмана и не доложил, что курс — сто восемьдесят.

В тот день солнце было ярко-красным. Таким ярко-красным, что казалось, оно сочится сквозь пласты облаков кровавой мутью.

— Пап, ты когда-нибудь видел такое солнце?

— Нет, сынок, — ответил отец. Мальчик улыбнулся.

— Пап, сегодня впервые в жизни и ты, и я видим такое солнце. Разом и ты, и я! Мальчик прямо на глазах становился все более говорливым. Это пугало.

— Пап, я еще утром считал его совсем круглым, а оно не со-

всем. Будто кто понадкусывал его, да?

— Да, — ответил отец и посмотрел на солнце, истекающее кровью.

Солнце действительно было таким, каким видел его мальчик. Подняв голову, отец подумал об этом и ещё о том, что он заметно сдал. У него болит шея и все тело, особенно шея. «Нет, не имею права...» Отец опустил голову и теперь видел только воду. Тяжелую воду теплого моря. Он не видел идущие навстречу ленивые волны. Он их чувствовал всем своим телом. Каждой мышцей, каждой клеткой. Он чувствовал волны так же, как наверно их чувствует крупная, уставшая рыба.

— Пап, нам ведь не жалко, что съест вон та, гадкая, туча?

— Нет, сынок, — ответил отец и подумал: «Пожалуй, мальчика надо подготовить, все равно он догадывается, смышленный шкетик:

— Сынок, я лягу на спинку?

— Давай, пап.

Мальчик отпустил шею и тоже лег на спину. Он лег на лицо отца. Потом чуть приспустился, и его ледяное ушко коснулось отцовских губ. «Смышленный, уже заботится о других». Отец прижал к груди маленькое тельце. «Нет, подожду, пусть выглянет солнце». Отец заметил в проеме туч нежный, голубой бархат.

«Поди, сил-то твоих хватит, — зло подумал он.— Хватит. Хватило бы у него. Ты слышишь, Бог, помоги ему, я молю тебя, помоги. Конечно, во мне нет веры и с горчичное семечко, но помоги, помоги ему, Бог?!»

— Пап, ты шепчешь «Бог, Бог». Разве он есть? - спросил мальчик. - Пап, ты же сам говорил, его нет.

В голосе мальчика была обида.

— Его нет, сынок. Я это так...

— Ты это просто так, как некоторые, которым почему-нибудь не по себе или тяжело. Вот они и вспоминают Бога да, пап?

— Да, сынок, — сказал отец, и в горле у него запершило.

— Пап, тебе тяжело?

Отец не ответил.

— Пап, можешь не отвечать, если что?.. Я сам буду отвечать, ладно, пап?

Мальчик сделал паузу и, явно подражая отцу, сказал:

— Настоящим мужчинам всегда должно быть тяжело.

Мальчик искоса посмотрел на отца. Отец удивился.

— Неужели я так говорил?

— Говорил, папа, еще как говорил!

— Не может быть, — не переставая удивляться, сказал отец.

Отцу было неудобно перед сыном.

— Пап, разве это плохо сказано?

— Нет, это сказано хорошо, чересчур хорошо.

— Пап, а мне нравится, когда сказано чересчур хорошо. Мне очень, очень нравится, когда чересчур хорошо. Мне это нравится больше всего на свете.

Мальчик замолчал, но отец почувствовал, что он хочет и не решается сказать еще что-то.

— Что ты хочешь сказать еще, сынок?

— Пап, а я настоящий мужчина?

Мальчик замер. Отец услышал, как дробно застучало маленькое сердце - живой моторчик.

— Ты очень настоящий мужчина, лучше не бывает, — серьезно сказал отец. Живой моторчик застучал еще сильнее.

— Сынок, ты не волнуйся. Не надо зря волноваться!

— Я не волнуюсь, папа, я только чуть-чуть. Ты даже не знаешь, как я маме про это скажу. Пап, можно маме сказать про это?

— Еще бы. Хочешь, я сам ей скажу? Ты настоящий мужчина.

— Пап! — воскликнул мальчик и сжался в комочек.

Отец ощутил — комочек вздрагивал. «Нельзя на это тратить силы. Нельзя. Особенно сейчас... Надо что-то придумать!» Не

придумал.

— Пап, не говори маме?

Мальчик расслабился. Плавно зашевелил ногами.

— Она подумает, ты нарочно меня хвалишь. Она всегда так думает, я знаю.

Отец опустил левую руку под себя и стал придерживать мальчика правой.

— Сынок, давай думать о чем-нибудь, а говорить не будем? Будем молчать и думать.

— Как все равно когда шли на паруснике?

— Да, — ответил отец с облегчением. Ему показалось, что он, наконец, придумал, как сберечь силы мальчику.

— Пап, только ты не думай о Боге?

— Хорошо, сынок, не буду.

— Правильно, — похвалил мальчик. - Зачем думать о том, кого нет? Давай думать о маме? Пап, ведь правда же нет ни у кого такой мамы, как у нас?

— Правда, сынок, давай думать о маме. Начали?

— Начали, — ответил мальчик, и они замолчали.

Ему о ней всегда думалось легко. Думать о ней последнее время стало для него привычкой. Есть такие привычки у рыбаков океанического лова. «Буду вспоминать все лучшее. Конечно, кое-что я уже вспоминал, ничего, сегодня буду вспоминать все сначала».

Он посмотрел на горизонт и отметил, что голубой проем стал заметно светлей и по краям позолотился. «Солнце обязательно выглянет, — порадовался он. — Утром оно было таким ярким и чистым, может и на закате будет таким. Ребенок обрадуется... Здравствуй, солнышко!..»

— Пап, ты спишь? — Услышал он шепот сына. Услышал так явственно, что приоткрыл глаза. Он увидел ноги сына. Бледно-синие, тонкие и длинные. Ноги плавно шевелились, и он понял:

сын думает о чем-то спокойном и хорошем. Это передалось ему.

— ... Пап, мама сейчас уедет, она надела шлем.

... Отец приподнял одеяло. Сын юркнул в постель, и отец, здесь в море, так живо ощутил, как он устраивается под одеялом, что еще крепче прижал его к себе. Они услышали тихие шаги и скрип двери. Сын замер, а он уткнулся в подушку. Она подошла к столу, и он догадался: пишет, где завтрак. Они не шевелились минуты три. Потом тихие шаги подошли близко-близко, сынок сжался. Шаги остановились. Сынок не дышал. Шаги постояли, подумали и удалились. Хлопнула дверь. Взревел мотороллер. Сынок, барахтаясь, вынырнул из-под одеяла.

— Пап, она нам посадит мотор, вот увидишь.

Глаза ребенка светились радостью.

— Не посадит.

— А если вот посадит? - настаивал сын, и он понимал, почему сын настаивает.

— А если вот посадит, переберем мотор.

— И мы ей за это даже ничего не скажем? - с любопытством спросил ребенок.

— Ничего.

— Ой, папа, как ей здорово с нами, — позавидовал мальчик.

— А разве нам плохо?

— А нам еще лучше! - воскликнул он, и это было правдой.

— Встаем? - спросил отец.

— Встаем, — ответил сын, и они десять раз обежали вокруг своей лесной избушки.

Умылись в роднике и только стали читать ее записку.

«Дикари, все в погребке. Завтракайте получше, меня не будет до вечера. Дикарек-Игорек, опять лазил к папе? Целую. Поехала в село за...» Здесь отец посмотрел на сына и засмеялся.

— Пап, что там? Зачем она поехала? - с нетерпением спросил

ребенок.

— Она вместо слова «провизия» написала «дивизия». Учти, она поехала в село за «дивизией».

Им стало весело. До того весело, что, завтракая, они то и дело посмеивались над нею.

— С нею просто умрешь, — говорил мальчик. - У нее не голова, а горсовет. Просто ума не приложу, откуда все берется? Пап, мы с нею не соскучимся?

Отец засмеялся, он знал, откуда это все в сыне. Ему было хорошо, как никогда. А потом мальчик вытащил ранец и достал табель-календарь, украшенный японскими объемными фотографиями морских пейзажей, и затих. Мальчик всегда это делал после завтрака, и всегда это задевало отца, у него начинало сосать под ложечкой.

— Сколько? - спросил он сына.

— Десять дней, папа, — сын вздохнул и спрятал календарь, не взглянув на отличные пейзажи.

— Пап, а десять дней будет сколько часов?

— Двести сорок.

— Ба...а! - удивился сын.

— Да еще сегодня двадцать часов, ты что забыл сегодняшние двадцать?

— Нет, я не забыл, я их держу про запас.

— Ах, вот как? - изумился отец и добавил, — ты вообще-то думаешь идти на «Паруснике»?

— Пап, да я только об этом и думаю! - мальчик засуетился. - Я даже спать не могу, так думаю. Как он там без нас под этой скалой? Но раз ты молчишь, решил - буду молчать. Не могу я в такой день быть невыдержанным.

— Тогда все в порядке, — сказал отец, и взяв бачок с водой, они пошли к «Паруснику». Вначале они шли по тропинке и удивлялись, что росы совсем нет и орешник абсолютно сухой. Тропинка

бежала по западному склону сопки, мирно выбегающему на обширный плес, усеянный голубоватой галькой и белыми, гладкими ракушками. Потом они круто свернули на восток и пошли в гору. Заросли орешника им мешали, но не настолько, чтобы их замечать. А когда они выбрались на гребень сопки, они и вовсе забыли об орешнике, потому что увидели солнце. Утреннее, оно тихо скользило над водой, как лебедь, осторожно поднимая свои розовые крылья. Море горело. Море томилось в ленивой бесконечности мгновенья.

— Здравствуй, солнышко! - закричал мальчик, вскинув руки, и, охваченный восторгом встречи, быстро стал спускаться вниз к светящейся воде. Там за скалой в каменном гроте стоял «Парусник». «Парусник» — это его имя. Имя семиместного бота с великолепным московским двигателем.

Отец так и говорил о двигателе:

— Великолепный москвичевский, двадцать сил, не подведет.

... И он не подвел. «Проклятый туман», — он снова сменил руку и глянул на горизонт. Проем расширился, а позолота стала более сочной. «Проклятый туман, откуда он взялся?! И этот сухогруз, без гудков, летящий, как на пожар?! Не надо. Решено думать о хорошем, о ней». Он прильнул к мальчику, и ему показалось, что мальчик всхлипнул. Он насторожился, но увидев, что мальчик все так же плавно перебирает ногами, успокоился.

Свадьба. Ее он помнит, будто она была вчера. Сокурсники: Толик Лавский и Паша Батухтин. Паша, смуглый, с длинными прядями черных, гладких волос. Пиджак расстегнут, загадочная улыбка и прихрамывающая походка Байрона. Толик - мыслитель с сократовским лбом и горечью юного циника на лице.

— Не вздумайте орать «горько!», навешаю, — серьезно предупредил он их.

— Что ты! - почему-то обрадовался Толик и вытащил две бу-

тылки сладкого шампанского. Невеста была в подвенечном платье, и он сидел с нею во главе длинного, неестественно длинного стола. Гости заметно повеселели, а он, наклонившись к Толику, все говорил и говорил. Он совсем не обращал внимания на нее. Со стороны казалось, она - одна виновница торжества. Он так себе. Он не походил на жениха, хотя был в черном костюме, как положено в такой день. Он походил на случайного гостя, подсевшего к праздничному столу с одним желанием: поговорить на отвлеченные темы. Это сердило всех, но он ничего не мог поделаться с собою. Ему было двадцать лет. Он старался не смотреть на брата. Брату было уже двадцать три, как раз столько, сколько ей, его невесте. Он стыдился всего, в чем брат ему уступал, а в этом особенно. Потом как-то залпом открылась дверь, и в гостиную вбежала цыганка. В красном расклешенном платье, с фужером золотистого вина, она вопила:

— Горько, горько!!!

Она вопила так истошно, что все в начале опешили. А когда пришли в себя, оживились, и дружное требование сотрясло свадьбу. Невеста вопросительно посмотрела на него и, не дожидаясь ответа, стала медленно подниматься. Он тоже встал. Он хотел быстро чмокнуть, но она обвила шею, и тогда, чтобы не выдать ее, он обнял так крепко, как обнимались они наедине. Поцелуй получился затяжным и таким страстным, что цыганка закричала:

— Ай, маладец! Ай, маладец!

Вот когда было по-настоящему стыдно перед братом. Выручили «Бродячие музыканты». Они ворвались, как соловьи-разбойники. Цыганка на лету поймала бубен, брошенный ей баянистом. Обутый в желтые сапоги с длинными голенищами, с рыжими усами щеточкой и в шляпе с широкими простроченными полями баянист напоминал кота в сапогах. Барабанщик ударил в барабан, висящий на животе, как пивной котел, и дзыкнул бронзовыми тарелками. Позеленевшие от дождей тарелки не пели, а кричали.

Барабанщик работал сосредоточено. Он был ведущим в оркестре. Он работал в основном правой, потому что именно в правой он держал регулировочную палку, обитую на конце толстым войлоком. Палка служила исправно. Изломившись в нескольких местах, стол отодвинулся к стене. Посыпались стаканы, загромыхали падающие табуретки. Цыганка, хлопнув фужером об пол, ударила в бубен и побежала по кругу. Она побежала так быстро, что платье забилося, заметалось по коленям, словно пламя костра. Баянист запрыгнул на подоконник, а барабанщик потеснился в угол. Студенческая свадьба набирала разбег. Все моментально забыли о невесте и о нем. И они не стесняясь поцеловались несколько раз. Им было хорошо. И от того, что их оставили в покое, и от того, что всем весело, и от того, что бродячие музыканты такие домашние. Замечательно было!

А разве плохо было, когда он пришел из армии? Открыл дверь и увидел ее. Она мыла полы, а рядом на покрывале сидел удивительно знакомый человек. Человек, внимательно разглядывая его, грыз резинового петуха. Она напевала, и маленький узелочек волос вздрагивал на затылке в такт ее взмахам. Он навалился на дверь и закрыл глаза. А когда открыл, ударил куранты. Она мгновенно вытерла руки о фартук и подхватила человека.

— С Новым годом! - сказал он, и она вскрикнула. Солдатом она его не представляла. А потом были объятия и сладкое шампанское, и он шептал.

— Тебе было трудно, трудно...

Она кивала, и, прижимаясь к плечу, плакала. Он тоже готов был зареветь, но его смущал человек, удивительно знакомый и улыбчивый.

Они так и уснули на покрывале, укрывшись шинелью. Рядом с ведром и половой тряпкой. В ту ночь к ним стучали соседи, и наверное было свинством притворяться, что дома никого нет, но они

притворялись.

... Выглянуло солнце. У него не было выхода. «Конечно, до захода мы продержимся. Она догадается, но вертолет ночью - бесполезно. Вот если бы тогда не туман ... Нечего об этом думать». Он посмотрел на солнце, расплавившее огромный кусок уходящей тучи, и решил, что оно теперь такое же, как и утром, и, пожалуй, скоро зайдет, потому что лучи уже хватаются за гребни волн, и сил как раз столько, чтобы сделать все как надо - пора.

— Сынок, — сказал он и неожиданно поперхнулся, глотнув горькую горькой воды.

— Пап, ты хочешь лечь на живот?

— Да, — с трудом ответил отец и закашлялся. Потом взял себя в руки и помог мальчику оседлать плечи.

— Ты о чем думал, сынок?

— Пап, я думал о маме. - Мальчик торопился. Ему давно хотелось говорить, у него болели и руки, и ноги, и живот, и голова, и шея, и это было просто невыносимо.

— Мы с ней всегда тебя ждали и радовались твоим телеграммам. А когда тебя не было на Новый год и в дни рождения, мама приносила сладкое шампанское и мне тоже наливала. Она говорила не говорить, но она наливала чуть-чуть. Чуть- чуть ведь можно, папа, чуть-чуть ведь по-русски не считается?

— Не считается, сынок, — сказал отец и подумал, что все- таки пора, пора готовить мальчика.

— Пап, а ты знаешь, какой у нас был тост?

— Нет, сынок.

— У нас, папа, был всегда один тост. А к нему еще что-нибудь, это смотря, кем ты работал. — Какой же это был тост? - вдохнув всей грудью и с усилием повернув голову, спросил отец.

— Пап, а ты не скажешь маме?

— Нет, не скажу, — ответил отец.

— Мама всегда говорила: «Пусть папа станет писателем, настоящим писателем». И мы чокались, а потом она добавляла: «За тех, кто в тайге» или «За тех, кто в Арктике», а в этом году мы говорили: «За тех, кто в море». Пап, теперь за меня будут говорить: «За тех, кто в море»?

— Да, сынок.

Отцу стало не по себе. «Смышленный шкетик», — подумал он и сказал:

— Сынок, ты помнишь, как я тебя однажды побил. Ты еще ходил в тридцать шестой садик на площади. В общем, за мамины часы, ты налгал тогда?

— Помню, — сказал мальчик, и лицо его стало совсем больным.

— Прости, сынок, зря я тогда.

— Что ты, папа, — испугался мальчик, но лицо его ожило. - Очень даже правильно. Эх, надо было посильней, ты еще много панькался со мной. Пап, зачем ты столько панькался?

— Не знаю, сынок.

— А я знаю, — сказал мальчик, — но я тебе не скажу, ладно?

— Ладно.

Мальчик наклонился, выпростал руку и, хлопнув по воде ладошкой, сказал:

— Надо было так, так побить.

Но ладошка хлопнула по воде только один раз, потому что рука у мальчика повисла. Рука была тяжелой, она плохо слушалась мальчика. Отец увидел, что ребенок завалился в воду и помог ему опять оседлать себя. Это было нелегко.

— Лгать никогда нельзя, правда, пап? - отдышавшись, спросил мальчик.

Вместо ответа отец сказал:

— Сынок, знаешь. - Он заволновался. - В общем, мы с тобой можем превратиться в чаек. - Отец до боли сжал зубы.

— Как это? - насторожился мальчик. Теперь уже торопился отец.

— Понимаешь... — Отец лег на спину и посадил мальчика лицом к себе. - Понимаешь, мы станем чайками и полетим высоко, высоко. Надо только сильно-сильно захотеть. Я не говорил, думал не поверишь, не захочешь... но ты поверишь, правда?

— Да, папа, — сказал с грустью мальчик и вдруг воскликнул:

— Пап, и мы полетим к маме?

— Да, сынок, мы полетим к маме, только надо поторопиться, пока есть солнце, а то ничего не получится.

— Пап, ты это держал про запас?

— Да, сынок, — ответил отец и стал говорить мальчику, что надо делать. Мальчик слушал внимательно, и с каждым словом глаза его начинали светиться все больше и больше. Наконец они загорелись и стали такими же, как у отца.

— Я скажу «три», и тогда, сынок, набирай в себя столько воздуха, сколько сможешь, и ныряй поглубже.

— Пап, а можно я буду держаться за тебя?

— Конечно, можно, — обрадовался отец. - Только когда ты не сможешь дышать, отпусти меня, я больше тебя, мне надо поглубже.

— Хорошо, папа, — сказал сын, и отец повернул его и приподнял насколько мог, чтобы он в последний раз посмотрел на солнце. Такое огромное и прекрасное, будто день предстоял еще, предстоял...

— Три, — сказал отец чужим голосом, но мальчик остановил.

— Стой, пап!.. До свидания, солнышко! - крикнул мальчик и вскинул руки.

«До свидания, солнышко!» с болью отозвалось в душе отца, и он подумал: «Зря я его тогда за ложь ...вообще зря...»

— Пап, я готов. - Мальчик повернулся и посмотрел в глаза отцу. Вдохнув небо, они вместе с солнцем ушли под волну.

А когда мальчик немеющий рукой выпустил тельняшку отца и на мгновение увидел его взмахивающую тень, он подумал: «Мама, мы уже летим к тебе, летим!»...